

3 класс



Л.А. Ефросинина



Литературное чтение

Часть вторая

Учебная
хрестоматия



Вентана-Граф



Начальная школа XXI века

Литературное чтение

Учебная хрестоматия
для учащихся
общеобразовательных
учреждений



3 класс

В двух частях

Часть вторая

*Издание третье,
доработанное*



Москва
Издательский
центр
«Вентана-Граф»
2013

Л64 Литературное чтение : 3 класс : учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / [авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. — 3-е изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 192 с. : ил.

ISBN 978-5-360-03965-5 (ч. 2)

ISBN 978-5-360-03966-2 (общ.)

В хрестоматию включены произведения для слушания и самостоятельного чтения. Главная цель пособия — обогатить читательский опыт третьеклассников, расширить их круг чтения, создать доступную читательскую среду. Каждое произведение относится к определённой разделу учебника «Литературное чтение» для 3 класса.

Учебно-методический комплект (учебник, учебная хрестоматия, рабочая тетрадь) позволяет вести дифференцированную работу с учащимися, учитывая их индивидуальные возможности.

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.).

ББК 84.98я71

Условные обозначения



Обратите внимание.
Это важно знать



Ответьте на вопросы,
выполните задания



Подсказка



Словарь

Послушайте

Произведение читает учитель

ISBN 978-5-360-03965-5 (ч. 2)
ISBN 978-5-360-03966-2 (общ.)

- © Ефросинина Л.А., составление, учебные тексты, задания, 2009
- © Издательский центр «Вентана-Граф», 2009
- © Ефросинина Л.А., составление, учебные тексты, задания, 2012, с изменениями
- © Издательский центр «Вентана-Граф», 2012, с изменениями



О детях и для детей

А.И. Куприн

Собачье счастье

(В сокращении)

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий весёлый пёс, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал всё время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрёстках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в её лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пулся вперёд оживлённым галопом.

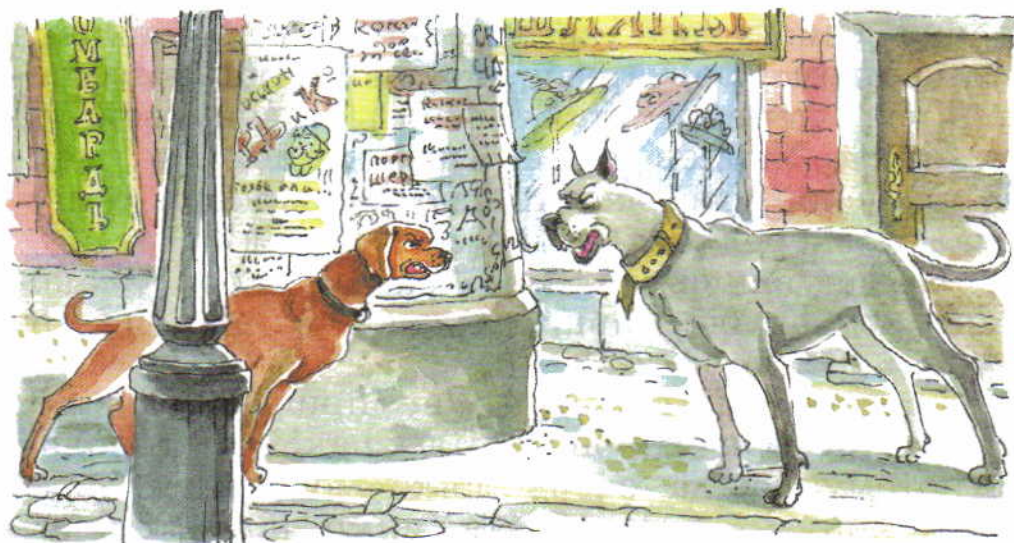
Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашёл Аннушки. <...>

Однако пойнтер вовсе не пришёл от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой. <...> Пробегая мимо почты с вы-

тянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцей. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истёртый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлёбываясь. <...>



И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумлённого Джека... Джек упёрся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришёл в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На кóзлах впереди клетки сидели два человека, наружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и вперёд от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским *стоицизмом*, и, если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он

спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом... Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решётке чёрная гладкая такса с жёлтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид её длинному, на вывороченных низких лапках, туловищу крокодила и серьёзной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились ещё две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завёрнутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый тёмный угол и лежал там, свернувшись клубком. За всё время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всём случайном обществе сильнейшей антипа-

тии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нём стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

— Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

— Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодёрне. <...>

— Извините... но я вас не совсем точно понял... Живодёрня... Что же это за учреждение — живодёрня? Не будете ли вы так добры объяснить?..

Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.

— Это, видите ли, *mesdames*, такой большой двор, обнесённый высоким, остроконеч-

ным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.

— Эка невидаль! — слышался хриплый голос из тёмного угла. — Я в седьмой раз туда еду.

Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит её реплики. <...>

— Я там бывал три раза, — продолжал пудель, — но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)... Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зарáз сотни две или три собак...

— Скажите, а бывает там порядочное общество? — жеманно спросила левретка.



— Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключённых, и тогда мы обедали супом из...

Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвёл глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:

— ...из собачьего мяса.

При последних словах компания пришла в ужас и негодование.

— Чёрт возьми! Какая низкая подлость! — воскликнул Джек.

— Я сейчас упаду в обморок... мне дурно, — прошептала левретка.

— Это ужасно... ужасно! — простонала такса.

— Я всегда говорил, что люди подлецы! — проворчал мышастый дог.

— Какая страшная смерть! — вздохнул Бутон.

И только один голос фиолетового пса звучал из своего тёмного угла мрачной и циничной насмешкой:

— Однако этот суп ничего... недурён... хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.

Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:

— Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но, — приготовьте ваши нервы, mesdames, — но этого мало. Для того, чтобы кожа

была нежнее и мягче, её сдирают с живой собаки.

Отчаянные крики прервали слова пуделя:

— Какое бесчеловечие!..

— Какая низость!

— Но это же невероятно!

— О Боже мой, Боже мой!

— Палачи!..

— Нет, хуже палачей!..

После этой вспышки наступило напряжённое и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдираания заживо кожи.

— Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? — крикнул запальчиво Джек.

— Будьте добры, укажите это средство, — сказал с иронией старый пудель.

Собаки задумались.

— Перекусать всех людей, и баста! — брякнул дог озлобленным басом.

— Вот именно-с, самая радикальная мысль, — поддержал подобострастно Бутон. — По крайности будут бояться.

— Так-с... перекусать... прекрасно-с, — возразил старый пудель. — А какого вы мнения, милостивый государь, относительно *арапников*? Вы изволите быть с ними знакомы?

— Гм... — откашлялся дог.

— Гм... — повторил Бутон.

— Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу ска-

зять, что хорошо знаю жизнь... Возьмём, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник, — вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестные?.. Предположим, что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться... Но разве человек не изобретёт тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретёт. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и всё-с. Таков закон природы-с.

— Ну развёл философию, — сказала так-са на ухо Джеку. — Терпеть не могу стариков с их поучениями.

— Совершенно справедливо, *mademoiselle*, — галантно махнул хвостом Джек. <...>

— Но где же здесь справедливость, — заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка. — Вот хоть вы, господин пудель... извините, не имею чести знать имени...

— Арто, профессор *эквилибристики*, к вашим услугам, — поклонился пудель.

— Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пёс, не говоря уже о вашей учёности; скажите, где же во всём этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями?..

— Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильнее и умней, — возразил с горечью Арто. — О! мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных...

Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама их в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну, скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?

— Уделит, непременно уделит, — согласились слушатели.

— Гм! — крикнул дог с сомнением.

— Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пёс умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда — это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.

— Действительно так, — подтвердили слушатели.

— Скажите ещё, — продолжал белый пудель, — разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устройении собачьего счастья? А люди это делают!

<...>

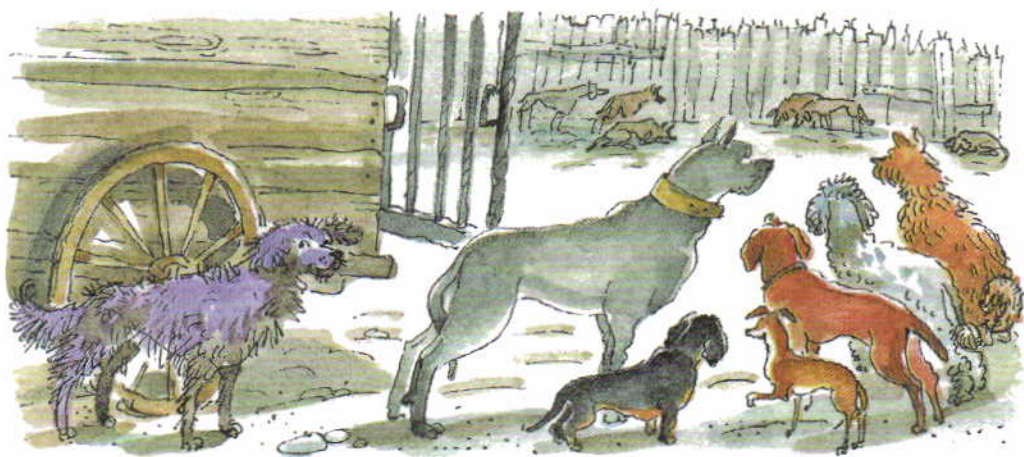
— В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки... И всё-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что так уже устроено. Освободиться от их владычества невозможно... Вся собачья жизнь, всё собачье счастье в их руках. В тепереш-

нем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьём сдирают кожу.

Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнёс ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.

Вскоре собаки почувствовали, что колёса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесённого кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.

Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из неё и, повинуясь инстинкту, сбились в кучу.



— Эй, послушайте, как вас там... эй вы, профессор!.. — услышал пудель сзади себя чей-то голос.

Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пёс.

— Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое, — огрызнулся старый пудель. — Не до вас мне.

— Нет, я только одно замечаньице... Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а всё-таки одну ошибочку сделали... Да-с.

— Да отвяжитесь от меня, чёрт возьми! Какую там ещё ошибочку?

— А насчёт собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?

И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пёс понёсся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» — закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.



Но фиолетовый пёс был уже около забора. Одним толчком отпрыгнув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Ещё два судорожных движения, и фиолетовый пёс перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.

Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.



Стоици́зм — здесь: хладнокровие, невозмутимость.

Mesdames (мадам), *mademoiselle* (мадемуазель) — форма обращения к женщине (замужней и незамужней).

Ара́пник — длинный охотничий кнут.

Эквилибристика — жанр циркового искусства; способность удерживать равновесие при неустойчивом положении тела.



В чём же состоит собачье счастье? Как об этом говорит автор?

А.П. Чехов

Белолобый

(В сокращении)

I

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла. <...>

Она была уже немолода, и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребьятами, а питалась одною падалью; свежее мясо приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев. <...> При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забежала далеко вперёд, то он кричал ей: «Задний ход!» <...>

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей слышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Её мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягнёнка, и от таких мыслей зубы у неё щёлкали и глаза светились в потёмках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неё вдруг прямо в морду пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое, должно быть, на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском; овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась вон... <...>

II

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее, и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, про-

стой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чём не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким, радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка. <...>

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращающуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лалял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами

в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; её мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:

— Мня, мня... нга-нга-нга!.. <...>

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала: «Пускай приучаются».





Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом тоже растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щёлкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

III

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушёл домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в про-

шлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперёд.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые *слоги*. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, залихватый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завывала, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйт! — засвистел Игнат. — Фюйт! Гони на всех парах!..

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!



Ярки — молодые овцы.

Слёги — толстые жерди, служащие основанием для кровли.



Возьмите в библиотеке книги А.П. Чехова о животных, прочитайте понравившиеся. Расскажите о них в классе.

К.Г. Паустовский **Тёплый хлеб**

Когда *кавалеристы* проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его *ватнике* и *картузе*. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.



Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось, даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее, общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, страдал от врага.

Жил в Бережках со своей бабушкой мальчик Филька по прозвищу Ну Тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабушка выговарива-

ла ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу: «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасёшься, на *христарадников*! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.



Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — там уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист, — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.



Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трескали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминуемая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. <...>

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же страся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерять я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе *камердинеров* нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над *осоко-рями* стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. <...>

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замёрз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бесмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.



— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошастью — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью. <...>

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.

— Ну, — сказал наконец Панкрат, затапывая махорочную сигарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пещни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Провернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты, шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьём мы, ребята, и такой лёд!

— А ежели замёрзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает».

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры.

Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный тёплый ветер. А когда заметили, что переменялась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Ворóны вылезли из-под *застрех* и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали. <...>

Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.



Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молотить зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах — ребята, кошки, даже мыши, — всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. <...>

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. <...>

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат, — не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил

буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.





Кавалері́ст — всадник.

Ва́тник — стёганая куртка на вате.

Карту́з — фуражка.

Христарáдники — попрошайки, нищие.

Камерди́нер — домашний слуга.

Осоко́рь — дерево, разновидность тополя.

Застре́ха — нижний край избы.



Возьмите в школьной библиотеке книгу с рассказами К.Г. Паустовского «Кладовая солнца».

Л. Пантелеев

Новенькая

(В сокращении)

...В классе за одной из первых парт сидела девочка. Это была какая-то совсем незнакомая девочка — маленькая, худенькая, с двумя белокурыми косичками и с зелёными бантиками на них. Увидев девочку, Володька подумал, что он ошибся и заскочил не в свой класс. Он даже попятился обратно к двери. Но тут он увидел, что класс этот — никакой не чужой, а его собственный, четвёртый класс — вон на стене висит рыжий кенгуру с поднятыми лапами, вон коллекция бабочек в ящике за стеклом, вон его собственная, Володькина, парта.

— С добрым утром! — сказал Володька девочке. — Хорошего аппетита. Как вы сюда попали?



— Я — новенькая, — сказала девочка очень тихо.

— Ну? — удивился Володька. — А почему — зимой? А чего ж ты так рано?

Девочка ничего не сказала и пожала плечами.

— Может быть, ты не в тот класс пришла? — сказал Володька.

— Нет, в этот, — сказала девочка. — В четвёртый «Б».

Володька подумал, почесал затылок и сказал:

— Чур, я тебя первый увидел. <...>

В это время в класс вошли две девочки. Володька захлопнул парту и закричал:

— Кумачёва, Шмулинская! Здравствуйте! С добрым утром! У нас новенькая!.. Я её первый увидел...

Девочки остановились и тоже с удивлением посмотрели на новенькую.

— Правда? Новенькая?

— Да, — сказала девочка.

— А почему ты зимой? А как тебя зовут?

— Морозова, — сказала девочка.



Тут появилось ещё несколько человек. Потом ещё. И всем Володька объявлял:

— Ребята! У нас новенькая! Её зовут Морозова. Я её первый увидел.

Новенькую обступили. Стали разглядывать, расспрашивать. Сколько ей лет? И как её зовут? И почему она зимой поступает в школу?

— Я не тутэшня, — потому, — сказала девочка.

— Что значит «не тутэшня»? Ты что — не русская?

— Нет, русская. Только я с Украины приехала.

— С какой? С Западной?

— Нет. С Восточной, — сказала девочка.

Отвечала она очень тихо и коротко и, хотя не смущалась нисколько, была какая-то грустная, рассеянная, и всё время казалось, что ей хочется вздохнуть.

— Морозова, хочешь давай будем сидеть со мной? — предложила ей Лиза Кумачёва. — У меня место свободное.

— Давай, всё равно, — сказала новенькая и пересела на Лизину парту.

В этот день почти весь класс явился раньше, чем обычно. Каникулы в этом году тянулись почему-то необыкновенно долго и томительно.

Ребята не виделись всего две недели, но за это время у каждого накопилось новостей больше, чем в другое время за всё лето.

Волька Михайлов ездил с отцом в Териоки, видел взорванные и сожжённые дома и слышал — правда, издалека — настоящие артиллерийские выстрелы. <...> У Жоржика Семёнова ушёл добровольцем на войну с белофиннами брат, известный лыжник и футболист. <...>

Заговорившись, ребята забыли о новенькой и не заметили, как прошло время. А за окнами уже совсем рассвело, и вот в коридоре зазвенел звонок, зазвенел как-то особенно — громко и торжественно.

Ребята быстрее, чем обычно, расселись по партам.

В это время в класс вбежала запыхавшаяся длинноногая Вера Макарова.

— Ребята! — закричала она. — Вы знаете... Новость!..

— Что? Что такое? Какая? — закричали вокруг.

— Вы знаете... у нас... у нас... новенькая...

— Ха! — захохотали ребята. — Новость! Давно без тебя знаем...

— Новенькая учительница, — сказала Вера.

— Учительница?

— Ага. Вместо Элеоноры Матвеевны будет. Ой, вы бы видели! — Вера всплеснула своими длинными руками. — Хорошенькая... Молоденькая... Глаза голубые, а волосы...

Ей не пришлось дорисовывать портрет новой учительницы. Открылась дверь, и на пороге появилась она сама — действительно очень молодая, голубоглазая, с двумя золотистыми косами, заплетёнными, как венок, вокруг головы.

Ребята поднялись ей навстречу, и в тишине какая-то девочка громко прошептала своей соседке:

— Ой, и правда, какая хорошенькая!..

Учительница чуть заметно улыбнулась, подошла к своему столу, положила портфель и сказала:

— Здравствуйте, ребята. Вот вы какие! А мне говорили, что вы — маленькие. Садитесь, пожалуйста.

Ребята сели. Учительница прошла по классу, остановилась, опять улыбнулась и сказала:

— Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета Ивановна. А вас?

Ребята засмеялись. Учительница прошла к столу и раскрыла журнал.

— О, да вас тут много. Ну, давайте всё-таки знакомиться. Антонова — кто это?



— Я! — сказала Вера Антонова, поднимаясь.

— Ну, расскажи мне немножко о себе, — сказала учительница, присаживаясь к столу. — Как тебя зовут? Кто твои папа и мама? Где ты живёшь? Как ты учишься?

— Учусь — ничего, хорошо, — сказала Вера.

Ребята зафыркали.

— Ну, садись, — усмехнулась учительница. — Поживём — увидим. <...>

Так она постепенно, по алфавиту, опросила полкласса. Наконец подошла очередь новенькой.

— Морозова! — выкликнула учительница.

Со всех сторон закричали:

— Это новенькая! Елизавета Ивановна, она новенькая. Она сегодня первый раз.

Учительница внимательно посмотрела на маленькую, худенькую девочку, поднявшуюся из-за своей парты, и сказала:

— Ах, вот как?

— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов, поднимая руку.

— Ну, что?

— Елизавета Ивановна, эта девочка новенькая. Её зовут Морозова. Я её сегодня первый увидел...

— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна. — Мы уже слышали об этом. Ну, что ж, Морозова, — обратилась она к новенькой, — расскажи и ты нам о себе. Это будет интересно не только мне, но и твоим новым товарищам.

Новенькая тяжело вздохнула и посмотрела куда-то в сторону, в угол.

— Меня зовут Валя, — сказала она. — Мне будет скоро двенадцать лет. Я родилась в Киеве и всё время там жила — с папой и мамой. А потом...

Тут она запнулась и совсем тихо, одними губами сказала:

— Потом мой папа...

Что-то мешало ей говорить.

Учительница вышла из-за стола.

— Хорошо, Морозова, — сказала она, — хватит. Ты после расскажешь.

Но было уже поздно. У новенькой задрожали губы, она повалилась на парту и громко, на весь класс, заплакала.

Ребята повскакали со своих мест.

— Что с тобой? Морозова! — крикнула учительница.

Новенькая не отвечала. Она уткнулась лицом в сложенные на парте руки и делала всё, чтобы сдержать слёзы, но, как ни ста-

ралась, как ни сжимала зубы, слёзы всё текли и текли, и плакала она всё громче и всё безутешнее.

Учительница подошла к ней и положила руку ей на плечо.

— Ну, Морозова, — сказала она, — милая, ну, успокойся...

— Елизавета Ивановна, может быть, она больная? — сказала ей Лиза Кумачёва.

— Нет, — ответила учительница.

Лиза взглянула на неё и увидела, что учительница стоит, закусив губу, и что глаза у неё стали мутные, и что она тяжело и порывисто дышит.

— Морозова... не надо, — сказала она и погладила новенькую по голове.

В это время за стеной зазвенел звонок, и учительница, ни слова не сказав, повернулась, подошла к своему столу, взяла портфель и быстро вышла из класса.



Новенькую со всех сторон окружили. Стали её теребить, уговаривать, успокаивать. Кто-то побежал в коридор за водой, и когда она, стуча зубами, сделала несколько глотков из жестяной кружки, она успокоилась немножко и даже сказала «спасибо» тому, кто ей принёс воду.

— Морозова, ты что? Что с тобой? — спрашивали вокруг.

Новенькая не отвечала, всхлипывала, глотала слёзы.

— Да что с тобой? — не отставали ребята, наседая со всех сторон на парту.

— Ребята, уйдите! — отталкивала их Лиза Кумачёва. — Ну, как вам не стыдно! Мало ли... может быть, у неё кто-нибудь умер.

Эти слова подействовали и на ребят, и на новенькую. Новенькая опять повалилась на парту и ещё громче заплакала, а ребята смутились, замолчали и стали понемногу расходиться.

Когда, после звонка, Елизавета Ивановна снова появилась в классе, Морозова уже не всхлипывала, только изредка шмыгала носом и сжимала в руке маленький, промокший до последней ниточки платок.

Учительница ей ничего больше не сказала и сразу же приступила к уроку.

Вместе со всем классом новенькая писала диктовку. Собирая тетради, Елизавета Ивановна остановилась около её парты и негромко спросила:

— Ну, как, Морозова?

— Хорошо, — пробурчала новенькая.

— Может быть, тебе лучше всё-таки пойти домой?

— Нет, — сказала Морозова и отвернулась.

Больше за весь день Елизавета Ивановна к ней не обращалась и не вызывала её ни на русском, ни на арифметике. Товарищи тоже оставили её в покое.

В конце концов, что тут особенно интересного в том, что маленькая девочка заплакала на уроке? О ней просто забыли. Только Лиза Кумачёва почти каждую минуту спрашивала у неё, как она себя чувствует, и новенькая или говорила ей «спасибо», или ничего не отвечала, а только кивала головой.

Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу. <...>

Застёгивая на ходу коротенькое пальтецо с белым заячьим воротником, она вышла на улицу. Почти следом за ней выбежала на улицу Лиза Кумачёва.

— Морозова, тебе в какую сторону? — сказала она.

— Мне — сюда, — показала налево новенькая.

— Ой, по пути, значит, — сказала Лиза, хотя идти ей нужно было совсем в другую сторону. Просто ей очень хотелось поговорить с новенькой.



— Ты на какой улице живёшь? — спросила она, когда они дошли до угла.

— А что? — спросила новенькая.

— Ничего... Просто так.

— На Кузнечном, — сказала новенькая и зашагала быстрее. Лиза еле-еле поспевала за ней. Ей очень хотелось как следует расспросить новенькую, но она не знала, с чего начать.

— Правда, Елизавета Ивановна хорошенькая? — сказала она.

Новенькая помолчала и спросила:

— Это какая Елизавета Ивановна? Учительница?

— Да. Правда, она чуждая?

— Ничего, — пожала плечами новенькая.

Здесь, на улице, в своём лёгком пальтишке она казалась ещё меньше, чем в классе. Нос и всё лицо у неё на морозе страшно покраснели. Лиза решила, что лучше всего заговорить для начала о погоде.

— У вас что — на Украине — теплее или холоднее? — сказала она.

— Трохи теплей, — сказала новенькая. Вдруг она убавила шаг, посмотрела на свою спутницу и сказала:

— Скажи, это очень глупо, що я так ре-вела сегодня у классе?

— Ну, почему? — пожала плечами Лиза. — У нас тоже девочки плачут... А ты почему плакала, что у тебя случилось, а?

Она думала почему-то, что новенькая ей не ответит. Но та посмотрела на Лизу и сказала:

— У меня папа пропал.

Лиза даже остановилась от удивления.

— Как пропал? — сказала она.

— Он — лётчик, — сказала новенькая.

— А где он — в Киеве пропал?

— Нет, здесь — на фронте...

Лиза открыла рот.

— Он что у тебя — на войне?

— Ну, да, конечно, — сказала новенькая, и Лиза, посмотрев на неё, увидела, что у неё в глазах опять блещут слёзы.

— А как же он пропал?

— Ну, как вообще на войне пропадают. Улетел, и никто не знает, що с ним. Одиннадцать дней от него писем не было.

— Может быть, некогда ему? — неуверенно сказала Лиза.

— Ему и всегда некогда, — сказала новенькая. — А он всё-таки в декабре оттуда восемь листиков прислал.

— Да, — сказала Лиза и покачала головой. — А вы когда, давно из Киева приехали?

— Мы сразу, вместе с ним приехали, как только война началась — на третий день.

— И мама твоя приехала?

— Конечно.

— Ох, наверно, она тоже волнуется! — сказала Лиза. — Плачет, наверно, да?

— Нет, — сказала новенькая. — Моя мама умиет не плакать...

Она посмотрела на Лизу, сквозь слёзы усмехнулась и сказала:

— А я вот не умию... <...> Ну, до свиданья, теперь я одна пойду.

— Почему? — удивилась Лиза. — Это же ещё не Кузнечный. Я тебя провожу.

— Нет, нет, — сказала новенькая и, торопливо пожав Лизину руку, побежала дальше одна. <...>

На следующее утро Валя Морозова пришла в школу очень поздно, перед самым звонком. Когда она появилась в классе, там сразу стало очень тихо, хотя за минуту до этого стоял такой гвалт, что в окнах звенели стёкла, а мёртвые бабочки в классной коллекции шевелили крылышками, как живые. По тому, как участливо и жалостливо все на неё посмотрели, новенькая поняла, что Лиза Кумачёва уже успела рассказать о вчерашнем их разговоре на улице. Она покраснела, смутилась, пробормотала «здравствуйте», и весь класс, как один человек, ответил ей:

— Здравствуй, Морозова!

Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у неё слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у неё об этом, и только Лиза Кумачёва, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:

— Что, нет?

Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.

За ночь она ещё больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички её были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зелёный шёлковый бантик.

Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачёва, подошёл Володька Бессонов.

— Здравствуй, Морозова. С добрым утром, — сказал он. — Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать четыре было.

— Да, — сказала Морозова. <...>

Володька оглянулся. В дверях, с портфелем под мышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.

— Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.

Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:

— Ну, как проживают наши уроки?

— Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо. Живы, здоровы! — закричал Володька.

— А это мы сейчас увидим, — сказала учительница, раскрывая классный журнал.

Взгляд её пробежал по списку учеников.
— Морозова — к доске! — сказала учительница.

Почему-то по классу пробежал ропот.

Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня её и не беспокоить.

— Отвечать можешь? — спросила у новенькой учительница. — Уроки выучила?

— Выучила. Могу, — чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.

Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И всё-таки не отпускала её и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у неё в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.

Лиза Кумачёва готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на неё, качает головой и говорит:

— Нет, неправильно. Опять неправильно.

«Ах, — думала Лиза. — Если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила её. Она бы не стала её мучить».

Ей хотелось вскочить и закричать: «Елизавета Ивановна! Хватит! Довольно!..»

Наконец, новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила её и поставила в журнале отметку. <...>

В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.

— Вы знаете, девочки, — сказала Лиза Кумачёва, — я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую... Чтобы она с ней не так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.

— Пойдёмте, поговорим с ней, — предложила Шмулинская.

И девочки гурьбой побежали в учительскую. <...>

Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачёва и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.

— Да? — сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.

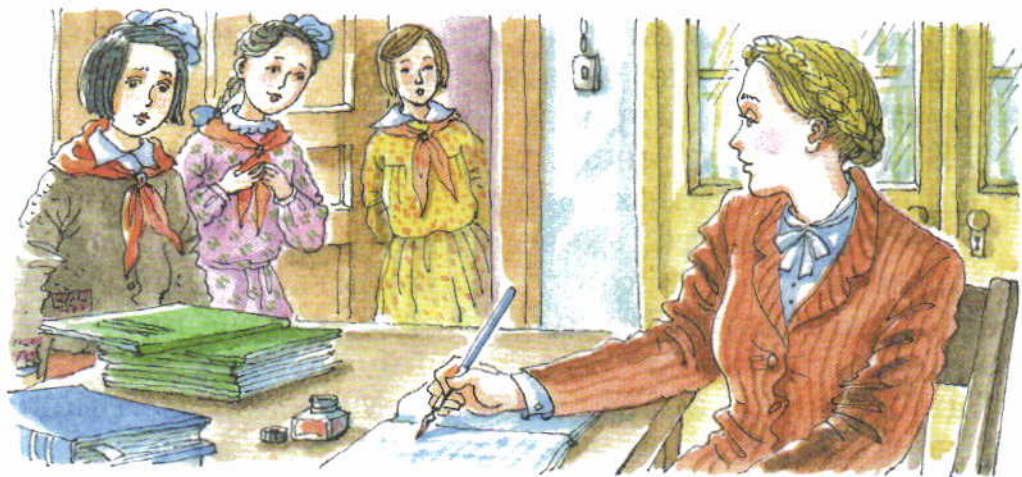
От неожиданности они застряли в дверях.

— Что вы хотели? — сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.

— Елизавета Ивановна, — сказала, выходя вперёд, Лиза. — Мы хотели... это... мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.

— Ну? Что? — сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки, внимательно посмотрела на девочек.

— Вы знаете, — сказала Лиза, — ведь у неё отец...



— Да, да, девочки, — перебила её Елизавета Ивановна. — Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы её жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная... в августе у неё был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала о своём горе. Сейчас о своём много думать нельзя — не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности — наша Родина. А что касается Вали — будем надеяться, что отец её жив.

Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.

— Елизавета Ивановна, — сказала, засопев, Шмулинская, — а вы почему плачете?

— Да, да, — сказали, окружив учительницу, остальные девочки. — Что с вами, Елизавета Ивановна?

— Я? — повернулась к ним учительница. — Да что с вами, голубушки! Я не

плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом — здесь так накурено... <...>

После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была весёлая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.

К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поправки.

Училась Морозова неровно, то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала, и мама её, наверно, плакала, и — где ж тут заниматься?

А в классе Морозову тоже никогда больше не видели плачущей. Может быть, это потому, что никто никогда не заговаривал с ней об её отце, даже самые любопытные девочки, даже Лиза Кумачёва. Да и что было спрашивать? Если бы отец её вдруг нашёлся, она бы и сама, наверно, сказала, да и говорить не надо — по глазам было бы видно.

Только один раз Морозова не выдержала. Это было в начале февраля. В школе собирали подарки для посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в сумерках, собрались ребята в классе, шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя

Морозова тоже работала вместе со всеми. И вот тут, когда она зашивала один из мешочков, она заплакала. И несколько слезинок капнуло на этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об отце. Но никто ей ничего не сказал. И скоро она перестала плакать.

А на другой день Морозова не пришла в школу. Всегда она приходила одной из первых, а тут уже прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, и уже Елизавета Ивановна показалась в дверях, а её все не было.

Учительница, как всегда весело и приветливо, поздоровалась с классом, села за столик и принялась перелистывать журнал.

— Елизавета Ивановна! — крикнула ей с места Лиза Кумачёва. — Вы знаете, почему-то Морозовой нет.

Учительница оторвалась от журнала.

— Морозова сегодня не придёт, — сказала она.

— Как не придёт? Почему не придёт? — слышалось со всех сторон.

— Морозова заболела, — сказала Елизавета Ивановна.

— А что? Откуда вы знаете? Что — разве мама её приходила?

— Да, — сказала Елизавета Ивановна, — приходила мама.

— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов. — Может быть, у неё отец нашёлся?!

— Нет, — покачала головой Елизавета Ивановна. И сразу же заглянула в журнал, захлопнула его и сказала:

— Баринову Тамару — прошу к доске.

На другой день Морозова тоже не пришла. Лиза Кумачёва и ещё несколько девочек решили после уроков пойти её навестить. В большую перемену они подошли в коридоре к учительнице и сказали, что хотели бы навестить больную Морозову, нельзя ли узнать её адрес.

Елизавета Ивановна подумала минутку и сказала:

— Нет, девочки... У Морозовой, кажется, ангина, а это опасно. Не стоит к ней ходить.

И, ничего больше не сказав, пошла в учительскую.

А следующий день был выходной.

Накануне Лиза Кумачёва очень долго провозилась с уроками, легла позже всех и собиралась как следует поспать — часов до десяти или до одиннадцати. Но было ещё совсем темно, когда её разбудил оглушительный звонок на кухне. В полусне она слышала, как мать открывает дверь, потом услышала какой-то знакомый голос и не сразу могла сообразить, чей это голос.

Захлёбываясь и проглатывая слова, кто-то громко говорил на кухне:

— У нас в классе есть девочка. Она с Украины приехала. Её зовут Морозова...

«Что такое? — подумала Лиза. — Что случилось?»

Второпях она натянула задом наперёд платье, сунула ноги в валенки и выбежала на кухню.

Размахивая руками, Володька Бессонов что-то объяснял Лизиной маме.

— Бессонов! — окликнула его Лиза.

Володька даже не сказал «с добрым утром».

— Кумачёва, — кинулся он к Лизе, — ты не знаешь, как у Морозовой отца зовут?

— Нет, — сказала Лиза. — А что такое?

— Он не капитан?

— Не знаю. А что? В чём дело?

Володька прищёлкнул языком, покачал головой.

— Плохо, если не капитан, — сказал он.

— Да что такое? — чуть не закричала Лиза.

— Понимаешь, — сказал Володька. — У меня есть собака. Её зовут Тузик. Я её каждый выходной вожу гулять. Утром.

— Какой Тузик? — ничего не понимая, спросила Лиза.

— Тузик. Собака. Ну, не в этом дело. Одним словом, я её повёл гулять. А на улице радио. И передают Указ. Понимаешь? О награждениях бойцов и командиров. Я слушаю и вдруг слышу: за проявленную доблесть и так далее — присвоить звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи капитану Морозову Ивану... и какое-то отчество, я только не разобрал, трудное какое-то.

— Командиру эскадрильи? Правда? — сказала Лиза.

— Вот в том-то и дело... Я думаю, может, это он? Ведь он лётчик?

— Ну да. Ну конечно, — сказала Лиза. — Ой, как бы узнать, как его зовут?

— Я же тебе говорю — Иван зовут... забыл только отчество... Фик-тилистович, кажется. <...>

— А может, это не он? — сказала Лиза.

— А вы к этой — к Морозовой сбегайте, — посоветовала мать. — Чего ж лучше-то. Вот и узнаете. <...>

Через десять минут они уже были в Кузнечном переулке.

— Под воротами есть такие доски, — говорил Володька. — Деревянные. Там написано, где какой жилец живёт. Будем искать Морозовых.



Они обошли пять или шесть домов, проглядели все доски, и нигде Морозовых не было.

Володька уж стал ругаться и говорить, что, наверно, Лиза путает что-нибудь и что напрасно он оставил на улице Тузика...

Он уже хотел на всё плюнуть и бежать разыскивать своего Тузика, как вдруг Лиза схватила его за руку.

— Бессонов, смотри, — сказала она, — Елизавета Ивановна идёт.

Володька посмотрел и увидел, что по улице действительно идёт Елизавета Ивановна, их классная воспитательница. Они побежали ей навстречу и так разлетелись, что чуть не сбили её с ног.

— Елизавета Ивановна, здравствуйте, с добрым утром! — заговорили они в один голос.

Учительница испуганно попятилась.

— Здравствуйте, ребята, — сказала она.

— Елизавета Ивановна, — не дав ей опомниться, заговорил Володька, — вы не знаете случайно, где Валя Морозова живёт? <...>

— Да, — сказала, подумав, учительница. — Знаю. Морозова здесь, вот в этом кирпичном доме живёт.

— И квартиру знаете?

— И квартиру знаю, — сказала учительница. — А в чём дело?

— Вы понимаете, Елизавета Ивановна, — сказала Лиза. — У неё, кажется, отец нашёлся.

— У кого? — сказала учительница.

— У Вали!

И тут ребята увидели, что Елизавета Ивановна побледнела, как снег, и губы у неё задёргались — не то она хочет смеяться, не то плакать.

— Что? — сказала она. — Что вы говорите?

Ребята, путаясь и перебивая друг друга, рассказали ей о том, что передавали сегодня утром по радио.

Когда дело дошло до отчества капитана Морозова, Володька опять застрял.

— Филикт... — начал он. — Или Фе-ликтст...

— Феоктистович, — сказала учительница.

— Правильно! Во-во! — закричал Володька. — Феоктелистович! Елизавета Ивановна, а откуда вы знаете?..

Учительница закрыла рукой глаза.

— Идёмте, — сказала она. — Идёмте скорей к Морозовой.

И она побежала так быстро, что ребята едва успевали за ней, а прохожие останавливались и смотрели ей вслед.

— Сюда, — сказала она ребятам и свернула в ворота большого кирпичного дома, второго от угла. <...>

— Елизавета Ивановна, ведь правда? — сказала Лиза, когда они уже поднимались по чёрной лестнице. — Ведь, может, это и в самом деле Валин отец?

— Да, милая, — сказала Елизавета Ивановна. — Это он. Иван Феоктистович Моро-

зов, капитан, командир эскадрильи. Это Валин отец.

На площадке четвёртого этажа учительница остановилась, вынула из сумочки ключ и открыла этим ключом французский замок. Ребята не успели удивиться, как она распахнула дверь и сказала:

— Пожалуйста, милости просим. <...>

— Мама, это ты? — послышался за дверью тоненький голосок, и ребята узнали голос Вали Морозовой.

— Я, — сказала Елизавета Ивановна, распахнув дверь.

— Что ты так скоро? Уже достала?

— Нет, доченька, — сказала Елизавета Ивановна. — Я не достала газету. Но зато посмотри, какую я тебе привела замечательную живую газету...

Валя Морозова лежала в постели. Приподнявшись над подушкой, она испуганно и смущённо смотрела на Володьку и Лизу, которые, не менее смущённые и не менее испуганные, застряли в дверях.

Минуту Валя смотрела на них, потом вдруг вскрикнула и юркнула головой под одеяло.

Елизавета Ивановна подбежала к её кровати и стала стягивать с неё одеяло.

— Вылезай, вылезай! — сказала она. — Хватит нам прятаться. Горевали мы в одиночку, а радоваться будем вместе...

И она так громко засмеялась, что Валя не выдержала и высунулась из-под одеяла.

— Что? — сказала она.



Елизавета Ивановна опустилась на колени около её кровати и обняла девочку.

— Валечка! Папа жив, — сказала она.

Несколько секунд Валя внимательно смотрела на неё, потом уронила голову на подушку и тихо заплакала.

А когда она оторвалась от подушки, ребята увидели, что она уже не плачет, а смеётся. И тут, когда она засмеялась, и Володька, и Лиза в первый раз заметили, что она очень хорошенькая и что у неё белые зубы и очень красивые золотистые волосы, а самое главное, что она, как две капли воды, похожа на Елизавету Ивановну.

Ребята удивились, хотя ничего удивительного, конечно, в этом не было.



Возьмите в библиотеке и прочитайте книгу Л.Ф. Воронковой «Девочка из города» (любое издание).

Л. Пантелеев
Фенька

Дело было вечером. Я лежал на диване и читал газету. В комнате никого, кроме меня, не было. И вдруг я слышу — кто-то царапается. Кто-то чуть слышно, тихонечко стучит по оконному стеклу: тик-тик, тук-тук.

«Что, — думаю, — такое? Муха? Нет, не муха. Таракан? Нет, не таракан. Может быть, дождь капает? Да нет, какой там дождь, — дождём и не пахнет...»

Повернул я голову, посмотрел — ничего не видно. На локте привстал — тоже не видно. Прислушался — как будто тихо.

Лёг я. И вдруг опять: тик-тик, тук-тук.

«Фу, — думаю. — Что такое?»

Надоело мне, встал я, бросил газету, подошёл к окну и — глаза вытаращил. Думаю: батюшки, что это мне — во сне снится, что ли?

Вижу — за окном, на узеньком железном карнизе, стоит — кто вы думаете? Стоит девочка. Да такая девочка, о каких вы и в сказках не читывали.

Ростом она будет поменьше самого маленького мальчика-с-пальчика. Ножки у неё босые, платье всё изодрано; сама она толстененькая, пузатая, нос пуговкой, губы какие-то оттопыренные, а волосы на голове рыжие и торчат в разные стороны, как на сапожной щётке.

Я даже не сразу поверил, что это девочка. Я подумал сначала, что это какой-то

зверёк. Потому что я никогда раньше таких маленьких девочек не видел.

А девочка стоит, смотрит на меня и изо всех сил своим кулачишкой по стеклу барабанит: тик-тик, тук-тук.

Я у неё через стекло спрашиваю:

— Девочка! Тебе что надо?

А она не слышит меня, не отвечает и только пальцем показывает: дескать, открой, пожалуйста, а ну открой поскорей!

Тогда я отодвинул задвижку, открыл окно и впустил её в комнату.

Я говорю:

— Чего же ты, глупышка, в окно лезешь? Ведь у меня ж дверь открыта.



А она мне, я помню, тоненьким-тоненьким голоском отвечает:

— Я в дверь не умею ходить.

— Как не умеешь? В окно умеешь, а в дверь не умеешь?

— Да, — говорит, — не умею.

«Вот так, — думаю, — чудо-юдо ко мне привалило!»

Удивился я, взял её на руки, вижу — она вся дрожит. Вижу — боится чего-то. Оглядывается, на окно посматривает. Лицо у неё всё заплаканное, зубки стучат, а в глазах ещё слёзы поблёскивают.

Я у неё спрашиваю:

— Ты кто такая?

— Я, — говорит, — Фенька.

— Какая такая Фенька?

— Такая вот... Фенька.

— А где ты живёшь?

— Не знаю.

— А где твои папа с мамой?

— Не знаю.

— Ну, — я говорю, — а откуда ты пришла? Почему ты дрожишь? Холодно?

— Нет, — говорит, — не холодно. Жарко. А я дрожу потому, что за мной сейчас собаки по улице гнались.

— Какие собаки?

А она мне опять:

— Не знаю.

Тут уж я не вытерпел, рассердился и говорю:

— Не знаю, не знаю!.. А чего же ты тогда знаешь?

Она говорит:

— Я есть хочу.

— Ах вот как! Это ты знаешь?

Ну, что ж с ней поделаешь. Посадил я её на диван, «посиди», говорю, а сам пошёл на кухню поискать, нет ли чего-нибудь съедобного. Думаю: только вот вопрос, чем её кормить, этакое чудовище? Налил ей на блюдечко кипячёного молока, хлеба нарезал маленькими кусочками, котлету холодную раскрошил.

Прихожу в комнату, смотрю — где же Фенька? Вижу — на диване никого нет. Удивился я, стал кричать:

— Феня! Феня!

Никто не отвечает.

Я опять:

— Феня! А Феня?

И вдруг слышу откуда-то:

— Я тут!

Нагнулся — она под диваном сидит.

Рассердился я.



— Это, — говорю, — что за фокусы такие?! Ты почему это на диване не сидишь?

— А я, — говорит, — не умею.

— Что-о? Под диваном умеешь, а на диване не умеешь? Ах ты такая-сякая! Ты, может быть, и за столом за обеденным не умеешь сидеть?

— Нет, — говорит, — не умею.

— Ну, так садись, — говорю.

Посадил её за стол. Стул ей поставил. На стул книг целую гору навалил — чтобы повыше было. Вместо передника носовой платок повязал.

— Ешь, — говорю.

Только вижу — не ест. Вижу — сидит, ковыряется, носом сопит.

— Что? — говорю. — В чём дело?

Молчит, не отвечает.

Я говорю:

— Ты же есть просила. Вот — ешь, пожалуйста.

А она покраснела вся и вдруг говорит:

— Нет ли у вас чего-нибудь повкуснее?

— Как повкуснее? Ах ты, — я говорю, — неблагодарная! Тебе, что ж, конфет надо, что ли?

— Ах нет, — говорит, — что вы, что вы... Это тоже невкусно.

— Так чего же тебе? Мороженого?

— Нет, и мороженое невкусное.

— И мороженое невкусное? Вот тебе и на! Так чего же тебе, скажи, пожалуйста, хочется?



Она помолчала, носиком посопела и говорит:

— Нет ли у вас немножко гвоздиков?

— Каких гвоздиков?

— Ну, — говорит, — обыкновенных гвоздиков. Железеньких.

У меня даже руки от страха затряслись.

Я говорю:

— Так ты что же это, значит, гвозди ешь?

— Да, — говорит, — я гвоздики очень люблю.

— Ну, а ещё что ты любишь?

— А ещё, — говорит, — я люблю керосин, мыло, бумагу, песок... только не сахарный. Вату люблю, зубной порошок, гуталин, спички...

Я думаю:

«Батюшки! Неужели это она правду говорит? Неужели она действительно гвоздями питается?»

«Ладно, — думаю. — Давай проверим».

Вытащил из стены большой ржавый гвоздь, почистил его немножко.

— На, — говорю, — ешь, пожалуйста!

Я думал, она не будет есть. Думал, она просто фокусничает, притворяется. Но не успел я оглянуться, она — раз-раз, хруп-хруп — весь гвоздь сжевала. Облизнулась и говорит:

— Ещё!..

Я говорю:

— Нет, голубушка, извиняюсь, у меня больше гвоздей для тебя нет. Вот, если хочешь, — бумаги, пожалуйста, могу дать.

— Давай, — говорит.

Дал ей бумагу — она и бумагу съела. Спичек дал целый коробок — она и спички в два счёта скушала. Керосину на блюдечко налил — она и керосин вылакала.

Я только смотрю и головой качаю. «Вот так девочка, — думаю. — Такая девочка, пожалуй, и тебя самого съест в два счёта. Нет, — думаю, — надо гнать её в шею, обязательно гнать. Куда мне такое страшилище, людоедку такую!!!»

А она керосин выпила, блюдечко вылизала, сидит, зеваает, носом клюёт: спать, значит, хочется.

И тут мне её, вы знаете, что-то жалко стало. Сидит она, как воробушек — съёжилась, нахохлилась, — куда ж её, думаю, такую маленькую, на ночь глядя, гнать. Её ведь, такую пичужку, и в самом деле собаки могут загрызть. Я думаю: «Ладно, так уж и быть, — завтра выгоню. Пускай выпится у меня, отдохнёт, а завтра утречком — до свиданьица, иди откуда пришла!..»



Подумал я так и стал ей готовить постель. Положил на стул подушку, на подушку — ещё подушечку, маленькую, из-под булавок у меня такая была. Потом уложил Феньку, укрыл её вместо одеяла салфеткой.

— Спи, — говорю. — Спокойной ночи!

Она сразу и захрапела.

А я посидел немножко, почитал и тоже спать лёг.

Утром, как только проснулся, пошёл посмотреть, как там моя Фенька поживает. Прихожу, смотрю — на стуле ничего нет. Ни Феньки нет, ни подушки нет, ни салфетки... Вижу — лежит моя Фенечка под стулом, подушка у неё под ногами, голова на полу, а салфетки — так той и вовсе не видно.

Я разбудил её, говорю:

— Где салфетка?

<...>

Она говорит:

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Честное слово, не знаю.

Стали искать. Я ищу, а Фенька мне помогает. Ищем, ищем — нету салфетки.

Вдруг Фенька мне говорит:

— Слушайте, не ищите, ладно. Я вспомнила.

— Что, — я говорю, — ты вспомнила?

— Я вспомнила, где салфетка.

— Ну, где?

— Я её нечаянно скушала.

Ох, рассердился я, закричал, ногами затопал.

— Обжора ты такая, — говорю, — *утроба* ты ненасытная! Ведь этак же ты мне весь дом сожрёшь.

Она говорит:

— Я не нарочно.

— Как это не нарочно? Нечаянно салфетку съела? Да?

Она говорит:

— Я ночью проснулась, мне есть захотелось, а вы мне ничего не оставили. Вот сами и виноваты.



Ну, я с ней, конечно, спорить не стал, плюнул и ушёл на кухню завтрак готовить. Себе сделал яичницу, кофе сварил, бутербродов намазал. А Феньке — нарезал газетной бумаги, крошил туалетного мыла и сверху всё это керосинчиком полил. <...>

— Ну, — говорю, — ладно, садись, ешь скорей и — до свиданья!..

Она говорит:

— Как это «до свиданья»?

— Да так, — говорю. — Очень просто. До свиданья. Надоела ты мне, голубушка. Уходи поскорее, откуда пришла.

И вдруг вижу — моя Фенька как задрожит, как затрясётся. Кинулась ко мне, за ногу меня схватила, обнимает, целует, а у самой из глазёнок слёзы так и текут.

— Не гоните меня, — говорит, — пожалуйста! Я хорошая буду. Пожалуйста! Прошу вас! Если вы меня кормить будете, я никогда ничего — ни одного гвоздика, ни одной пуговки без спросу не съем.

Ну, одним словом, мне её опять жалко стало.

Детей у меня тогда не было. Жил я один. Вот я и подумал: «Что ж, не объест ведь меня эта *пигалица*. Пускай, — думаю, — погостит у меня немножко. А там видно будет».

— Ладно, — говорю, — так уж и быть. В последний раз тебя прощаю. Но только смотри у меня...

Она сразу повеселела, запрыгала, замурлыкала.

Потом я ушёл на работу. А перед тем как уйти на работу, я сходил на рынок и купил полкило маленьких сапожных гвоздей. Штук десять я оставил Феньке, а остальные положил в ящик и ящик закрыл на ключ.

На работе я всё время о Феньке думал. Беспокоился. Как она там? Что делает? Не натворила ли чего-нибудь?

Прихожу домой — Фенька сидит на окне, мух ловит. Увидела меня, обрадовалась, в ладоши захлопала.

— Ой, — говорит, — наконец-то! Как я рада!

— А что? — говорю. — Скучно было?

— Ой, как скучно! Прямо не могу, до чего скучно!

Взял её на руки. Говорю:

— Есть, наверно, хочешь?

— Нет, — говорит. — Ни капельки. У меня ещё три гвоздя от завтрака осталось.

«Ну, — думаю, — если три гвоздя осталось, значит, всё в порядочке, значит, она ничего лишнего не съела».

Я похвалил её за хорошее поведение, немножко с ней поиграл, потом занялся своими делами.

Мне нужно было написать несколько писем. Я сажусь за письменный стол, открываю чернильницу, гляжу — чернильница у меня пустая. Что такое? Ведь я только третьего дня чернила туда наливал.

— А ну, — говорю, — Фенька! Иди сюда! Она прибегает.

— Да? — говорит.

Я говорю:

— Ты не знаешь, куда у меня чернила девались?

<...>

— Я их выпила.

— Как выпила?! Ты же мне, — я говорю, — обещала...

Она говорит:

— Я обещала вам не есть ничего. А не пить я не обещала. И вы, — говорит, — опять сами виноваты. Зачем вы мне таких солёных гвоздей купили? От них пить хочется.

Ну вот — поговорите вы с ней! Опять я виноват.

Я думаю: что же мне делать? Ругаться? Да нет, руганью тут делу не поможешь. Думаю: надо ей какую-нибудь работу, какое-нибудь занятие найти. Это она от безделья глупостями занимается. А когда я её работать заставлю, ей некогда будет дурака-то валять.

И вот на другой день утром я ей даю метёлку и говорю:

— Вот, Феня, я уйду на работу, а ты пока делом займись: прибери комнату, пол подмети, пыль вытри. Сумеешь?

Она даже засмеялась.

— Эва, — говорит, — невидаль. Что ж тут не суметь? Конечно, сумею.

Вечером я прихожу, смотрю: в комнате — пыль, грязь, на полу бумажки валяются.

— Эй, Фенька! — кричу.

Она из-под кровати вылезает.

— Да? — говорит. — В чём дело?

— Ты почему это пол не подмела? <...>

— А чем, — говорит, — его подметать?

— Метёлкой.

Она говорит:

— Нету метёлки. <...>

Я говорю:

— Съела?

— Да, — говорит. — Съела. <...>

Я говорю:

— Чудовище! Да как же это ты умудрилась метёлку слопать?

Она говорит:

— Я, честное слово, даже сама не знаю. Как-то незаметно, по одному пруту...

— Ну, что же, — я говорю, — мне теперь делать? Железную метёлку для тебя, что ли, заказывать? <...>

— Нет, — говорит, — я и железную съем.

Тогда я подумал немного и говорю:

— Ладно. Я знаю, что я с тобой сделаю. С завтрашнего дня я буду тебя в чемодан прятать. Ты чемодан-то, надеюсь, не съешь?

— Нет, — говорит, — не съем. Он пыльный. Вымойте его — тогда съем.

— Ну нет, — говорю. — Спасибо. Не надо. Уж лучше пускай он пыльный стоит.

И на другой день я посадил Феньку в маленький кожаный чемодан. Она ничего — не плакала, не пищала. Только попросила, чтобы я просверлил несколько дырочек для воздуха.

Я взял ножницы и сделал три дырки. И с тех пор Фенька так там и живёт, у меня в чемодане.



Конечно, выросла немножко за это время: была с большой палец, теперь — с указательный. Но живётся ей неплохо. Даже уютно. Теперь я и окошечко там сделал, в её домике. Спит она на маленьком диванчике. Обедает за маленьким столиком. И даже маленький-маленький — вот такой — телевизорчик там стоит.

Так что вы её не жалейте, Феньку. А лучше приходите ко мне как-нибудь в гости, и я вас непременно с ней познакомлю.



Утрóба — здесь: прожорливый человек.
Пігалица — малышка.



Возьмите в библиотеке книгу с фантастическими произведениями.

В.А. Осеева
Бабка

Бабка была тучная, широкая, с мягким певучим голосом. В старой вязаной кофте, с подоткнутой за пояс юбкой, расхаживала она

по комнатам, неожиданно появлялась перед глазами, как большая тень.

— Всю квартиру собой заполонила!.. — ворчал Борькин отец.

А мать робко возражала ему:

— Старый человек... куда же ей деться?

— Зажилась на свете... — вздыхал отец. —

В инвалидном доме ей место — вот где!

Все в доме, не исключая Борьки, смотрели на бабушку как на совершенно лишнего человека.

Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела на кухне посудой. Потом будила зятя и дочь:

— Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку...

Подходила к Борьке:

— Вставай, батюшка мой, в школу пора!

— Зачем? — сонным голосом спрашивал Борька.



— В школу зачем? Тёмный человек глух и нем — вот зачем!

Борька прятал голову под одеяло:

— Иди ты, бабка...

— Я-то пойду, да мне не к спеху, а вот тебе к спеху.

— Мама! — кричал Борька. — Чего она тут гудит над ухом, как шмель?

— Боря, вставай! — стучал в стенку отец. — А вы, мать, отойдите от него, не надоедайте с утра.

Но бабка не уходила. Она натягивала на Борьку чулки, фуфайку.

Грузным телом колыхалась перед его кроватью, мягко шлёпала туфлями по комнатам, гремела тазом и всё что-то приговаривала.

В сенях отец шаркал веником.

— А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них!

Бабка торопилась к нему на помощь:

— Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязные были, я их обмыла и поставила.

Отец хлопал дверью. За ним торопливо выбегал Борька. На лестнице бабка совала ему в сумку яблоко или конфету, а в карман — чистый носовой платок.

— Да ну тебя! — отмахивался Борька. — Раньше не могла дать. Опоздаю вот...

Потом уходила на работу мать. Она оставляла бабке продукты и уговаривала её не тратить лишнего:

— Поэкономней, мама. Петя и так сердится: у него ведь четыре рта на шее.



— Чей род — того и рот, — вздыхала бабушка.

— Да я не о вас говорю! — смягчалась дочь. — Вообще расходы большие... Поаккуратней, мама, с жирами. Боре пожирней, Пете пожирней...

Потом сыпались на бабушку другие наставления. Бабушка принимала их молча, без возражений.

Когда дочь уходила, она начинала хозяйничать. Чистила, мыла, варила, потом вынимала из сундука спицы и вязала. Спицы двигались в бабушкиных пальцах то быстро, то медленно — по ходу её мыслей. Иногда совсем останавливались, падали на колени, и бабушка качала головой:

— Так-то, голубчики мои... Не просто, не просто жить на свете!

Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабушке пальто и шапку, швырял на стол сумку с книгами и кричал:

— Бабушка, поесть!



Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила как Борька ест. В эти часы как-то невольюно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах.

Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая:

— Всё хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает.

Иногда Борька жаловался на родителей:

— Обещал отец портфель. Все пятиклассники с портфелями ходят!

Бабка обещала поговорить с матерью.

Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку:

— Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?

— Ела, ела, — кивала головой бабка. — Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава.

Потом вдруг, глядя на Борьку выцветшими глазами, долго жевала она беззубым ртом какие-то слова. Щёки её покрывались рябью, и голос понижался до шёпота:

— Вырастешь, Борюшка, не бросай мать, заботься о матери. Старое, что малое. В старину говаривали: трудней всего три вещи в жизни — богу молиться, долги платить да родителей кормить. Так-то, Борюшка, голубчик!

— Я мать не брошу. Это в старину, может, такие люди были, а я не такой!

— Вот и хорошо, Борюшка! Будешь поить-кормить да подавать с ласкою? А уж бабка твоя на это с того света радоваться будет.

— Ладно. Только мёртвой не приходи, — говорил Борька.

После обеда, если Борька оставался дома, бабка подавала ему газету и, присаживаясь рядом, просила:

— Почитай что-нибудь из газеты, Борюшка: кто живёт, а кто мается на белом свете.

— «Почитай»! — ворчал Борька. — Сама не маленькая!

— Да что ж, коли не умею я.

Борька засовывал руки в карманы и становился похожим на отца.

— Ленишься! Сколько я тебя учил? Давай тетрадку!

Бабка доставала из сундука тетрадку, карандаш и очки.

— Да зачем тебе очки? Всё равно ты буквы не знаешь.

— Всё как-то явственней в них, Борюшка.



Начинался урок. Бабка старательно выводила буквы: «Ш» и «Т» не давались ей никак.

— Опять лишнюю палку приставила! — сердился Борька.

— Ох! — пугалась бабка. — Не сосчитаю никак.

Со двора доносился визг ребят.

— Давай пальто, бабка, скорей, некогда мне!

Бабка опять оставалась одна. Поправив на носу очки, она осторожно развёртывала газету, подходила к окну и долго, мучительно вглядывалась в чёрные строки. Буквы, как жучки, то расползались перед глазами, то, натываясь друг на дружку, сбивались в кучку. Неожиданно выпрыгивала откуда-то знакомая трудная буква. Бабка поспешно зажимала её толстым пальцем и торопилась к столу.

— Три палки... три палки... — радовалась она.



Досаждали бабке забавы внука. То летали по комнате белые, как голуби, вырезанные из бумаги самолёты. Описав под потолком круг, они застревали в маслёнке, падали на бабкину голову. То являлся Борька с новой игрой — в «чеканочку». Завязав в тряпочку пятак, он бешено прыгал по комнате, подбрасывая его ногой. При этом, охваченный азартом игры, он натывался на все окружающие предметы. А бабка бегала за ним и растерянно повторяла:

— Батюшки, батюшки... Да что же это за игра такая? Да ведь ты всё в доме переколотил!

— Бабка, не мешай! — задыхался Борька.

— Да ногами-то зачем, голубчик? Руками-то безопасней ведь.

— Отстань, бабка! Что ты понимаешь! Ногами надо.

Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал:

— Здравствуйте, бабушка!



Борька весело подтолкнул его локтем:

— Идём, идём! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция.

Бабка одёрнула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами:

— Обидеть — что ударить, приласкать — надо слова искать.

А в соседней комнате товарищ говорил Борьке:

— А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои и чужие. Она у нас главная.

— Как это — главная? — заинтересовался Борька.

— Ну, старенькая... всех вырастила. Её нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это.

— Не взгреет! — нахмурился Борька. — Он сам с ней не здоровается.

Товарищ покачал головой:

— Чудно! Теперь старых все уважают. Вот у одних в нашем дворе старичку плохо жилось, так ему теперь они платят. Суд по-

становил. А стыдно-то как перед всеми, жуть!

— Да мы свою бабу не обижаем, — покраснел Борька. — Она у нас и сыта и здорова.

Прощаясь с товарищем, Борька почему-то задержал его у дверей.

— Бабка, — нетерпеливо крикнул он, — иди сюда!

— Иду, иду! — заковыляла из кухни бабка.

— Вот, — сказал товарищу Борька, — попрощайся с моей бабушкой.

После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку:

— Обижаем мы тебя?

А родителям говорил:

— Наша бабка лучше всех, а живёт хуже всех — никто о ней не заботится.

Мать удивлялась, а отец сердился:

— Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня — мал ещё!

И, разволновавшись, набрасывался на бабку:

— Вы, что ли, мамаша, ребёнка учите? Если недовольны нами, могли бы сами сказать.

Бабка, мягко улыбаясь, качала головой:

— Не я учу — жизнь учит. А вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растёт! Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьёте, то не вернёте.

Перед праздником возилась бабка до полуночи на кухне. Гладила, чистила, пекла. Утром поздравляла домашних, подавала чис-

тое, глаженое бельё, дарила носки, шарфы, платочки.

Отец, примеряя носки, кряхтел от удовольствия:

— Угодили вы мне, мамаша! Очень хорошо, спасибо вам, мамаша!

Борька удивлялся:

— Когда это ты навязала, бабка? Ведь у тебя глаза старые — ещё ослепнешь!

Бабка улыбалась морщинистым лицом.

Около носа у неё была большая бородавка. Борьку эта бородавка забавляла.

— Какой петух тебя клюнул? — смеялся он.

— Да вот выросла, что поделаешь?

Борьку вообще интересовало бабкино лицо.

Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами.

— Чего это ты такая разрисованная? Старая очень? — спрашивал он.

Бабка задумывалась.

— По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно прочитать.

— Как же это? Маршрут, что ли?

— Какой маршрут? Просто горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала, ложились на лицо морщины. Нужды терпела, билась — опять морщины. Мужа на войне убили — много слёз было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет.

Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жиз-

ни — неужели всё лицо такими нитками затянется?

— Иди ты, бабка! — ворчал он. — Наговоришь всегда глупостей...

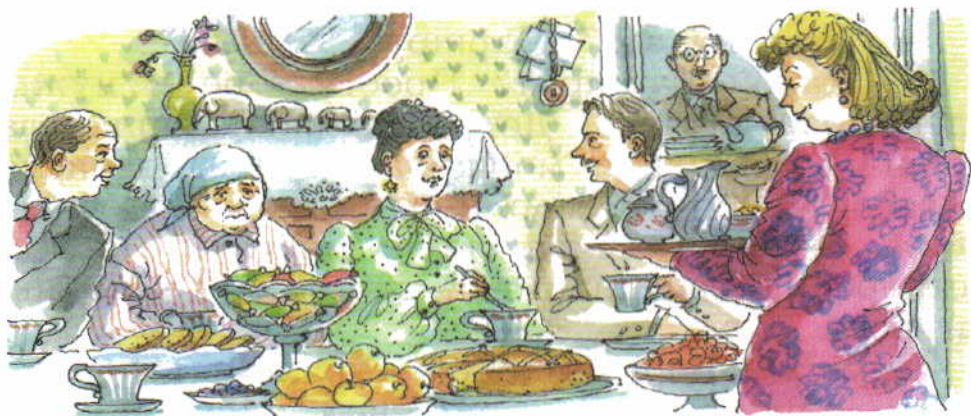
Когда в доме бывали гости, наряжалась бабка в чистую ситцевую кофту, белую с красными полосками, и чинно сидела за столом. При этом следила она в оба глаза за Борькой, а тот, делая ей гримасы, таскал со стола конфеты.

У бабки лицо покрывалось пятнами, но сказать при гостях она не могла.

подавали на стол дочь и зять и делали вид, что мамаша занимает в доме почётное место, чтобы люди плохого не сказали. Зато после ухода гостей бабке доставалось за всё: и за почётное место, и за Борькины конфеты.

— Я вам, мамаша, не мальчик, чтобы за столом подавать! — сердился Борькин отец.

— И если уж сидите, мамаша, сложа руки, то хоть за мальчишкой приглядели бы: ведь все конфеты потаскал! — добавляла мать.





— Да что ж я с ним сделаю-то, милые мои, когда он при гостях вольным делается? — что спил, что съел — царь коленом не выдавит, — плакалась бабка.

В Борьке шевелилось раздражение против родителей, и он думал про себя: «Вот будете старыми, я вам покажу тогда!»

Была у бабки заветная шкатулка с двумя замками; никто из домашних не интересовался этой шкатулкой. И дочь и зять хорошо знали, что денег у бабки нет. Прятали в ней бабка какие-то вещицы «на смерть». Борьку одолевало любопытство.

— Чего у тебя там, бабка?

— Вот помру — всё ваше будет! — сердилась она. — Оставь ты меня в покое, не лезу я к твоим-то вещам!

Раз Борька застал бабку спящей в кресле. Он открыл сундук, взял шкатулку и заперся в своей комнате. Бабка проснулась, увидела открытый сундук, охнула и припала к двери. Борька дразнился, гремя замками:

— Всё равно открою!..



Бабка заплакала, отошла в свой угол, легла на сундук.

Тогда Борька испугался, открыл дверь, бросил ей шкатулку и убежал.

— Всё равно возьму у тебя, мне как раз такая нужна, — дразнился он потом.

За последнее время бабка вдруг сторбилась, спина у неё стала круглая, ходила она тише и всё присаживалась.

— В землю вращается! — шутил отец.

— Не смейся ты над старым человеком, — обижалась мать.

А бабке в кухне говорила:

— Что это вы, мама, как черепаха, по комнате двигаетесь? Пошлётся вас за чем-нибудь и назад не дождёшься.

Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на полу — клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе готовый прибор. Но обедать Борька не стал.

Он долго глядел на мёртвую бабу и вдруг опрометью бросился из комнаты. Бегал по улицам и боялся вернуться домой. А когда осторожно открыл дверь, отец и мать были уже дома.

Бабка, наряженная, как для гостей, — в белой кофте с красными полосками, — лежала на столе. Мать плакала, а отец вполголоса утешал её:

— Что же делать? Пожила, и довольно. Мы её не обижали, терпели и неудобства и расход.

В комнату набились соседи. Борька стоял у бабки в ногах и с любопытством рассматривал её. Лицо у бабки было обыкновенное, только бородавка побелела, а морщин стало меньше.

Ночью Борьке было страшно: он боялся, что бабка слезет со стола и подойдёт к его постели. «Хоть бы унесли её скорее!» — думал он.

На другой день бабу схоронили. Когда шли на кладбище, Борька беспокоился, что уронят гроб, а когда заглянул в глубокую яму, то поспешно спрятался за спину отца.

Домой шли медленно. Провожали соседи. Борька забежал вперёд, открыл свою дверь и на цыпочках прошёл мимо бабкиного кресла. Тяжёлый сундук, обитый железом, выпирал на середину комнаты: тёплое лоскутное одеяло и подушка были сложены в углу.

Борька постоял у окна, поковырял пальцем прошлогоднюю замазку и открыл дверь

в кухню. Под умывальником отец, засучив рукава, мыл галоши; вода затекала на подкладку, брызгала на стены. Мать гремела посудой. Борька вышел на лестницу, сел на перила и съехал вниз.

Вернувшись со двора, он застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами.

Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами.

— Мой ещё, — сказала она и низко наклонилась над сундуком. — Мой...

На самом дне загремела шкатулка. Борька присел на корточки. Отец потрепал его по плечу:

— Ну что же, наследник, разбогатеем сейчас!

Борька искоса взглянул на него.

— Без ключей не открыть, — сказал он и отвернулся.

Ключей долго не могли найти: они были спрятаны в кармане бабкиной кофты. Когда отец встряхнул кофту и ключи со звоном упали на пол, у Борьки отчего-то сжалось сердце.

Шкатулку открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём были тёплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шёлка — тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было написано боль-



шими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочёл:

— «Внуку моему Борюшке».

Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули:

«Внуку моему Борюшке».

В букве «Ш» было четыре палочки.

«Не научилась!» — подумал Борька. И вдруг, как живая, встала перед ним бабка — тихая, виноватая, не выучившая урока.

Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, пошёл по улице вдоль чужого длинного забора...

Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него распухли от слёз, к коленкам пристала свежая глина.

Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придёт утром бабка!»



1. Сравните судьбы двух бабушек: отношения в семьях и мальчиков к бабушкам.
2. Как изменялось отношение Борьки к бабушке? В чём это проявлялось?

3. Подготовьте устный или письменный рассказ «Моя бабушка» с указанием точных фактов о ней (фамилия, имя и отчество, где живёт, чем занимается, кто по профессии и т. д.).

Д.Н. Мамин-Сибиряк

Постойко

(В сокращении)

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома, — его выпускали погулять в это время.

— А, ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост палкой. — Я тебе задам...

Постойко задрал ещё сильнее свой пушистый хвост, свёрнутый кольцом, оцетинился и смело пошёл на врага. Они встречались каждый день в это время и каждый раз дрались до остервенения. Охотничий пёс не мог видеть равнодушно кудлатого пса, а тот, в свою очередь, сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхоленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных собак.

Враги медленно подходили друг к другу, поднимали шерсть, скалили зубы и только хотели вцепиться, как вдруг в воздухе свистнула длинная верёвка и змеей обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стремглав, спасаясь от бежавших за ним людей с верёвками. Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде всё было заперто. Впереди выбежали дворники и загородили Постойке дорогу. Опять свистнула верёвка, и Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то верзила, подтаскивая несчастную собаку к большому фургону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но проклятая верёвка ужасно давила шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жавшихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами, — пропищала болонка, сторонясь от уличных собак. — Моя генеральша узнает, так задаст... <...>

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку, — откликнулся Аргус из своего угла: он немного оправился от страха. — Я уже раз был на выставке и могу сказать,

что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят.

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют... <...>

Фургон покатился дальше, и дверь с железной решёткой отворялась только для того, чтобы принять новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзила,правлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой, — сказал он кучеру.

Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фургон всё катился медленно и тяжело, точно на край света. Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, когда фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем дальше, тем было больше. Таким образом, в этой толкотне Постойко и не заметил, как очутился рядом с Аргусом, даже ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой... — заметил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной собаки; но, узнав приятеля, прибавил шёпотом: — А ведь скверная история, Постойко!.. Я, по крайней мере, не имею никакого желания болтаться на верёвке... Впрочем, меня хозяин выкупит.



Постойко удручённо молчал. У него не было хозяина, а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад.

II

Приют для бродячих собак помещался на краю города, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из первого сарая послышался такой жалобный вой и лай, что у Постойки сердце сжалось. Пришёл, видно, ему конец...

...Постойко попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лохматый Барбос.



— Да уж так... Только хотел подраться с одним франтом, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен... Такой голе-настый и хвост палкой.

— С ошейником? — Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.

— Ну, так его хозяин выкупит.

В течение нескольких минут Постойко узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, её уводили в другой сарай и вздёргивали на верёвку. Постойко был ужасно огорчён: оставалось жить, может быть, всего пять дней. Это ужасно... И всё из-за того только, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утешение, но всё-таки утешение. <...>

Огорчённый Постойко не мог даже подумать о пище. До еды ли, когда, того гляди, повесят! Он с ужасом смотрел на пёструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышались шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней.

— А ты всё-таки закуси, — советовал Барбос. — Очень уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи собаки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворняги, и нам не до церемоний. Голод не тётка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов, а всё так просто: за деревней река, за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, познакомился с ними, вернее сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря, увидал деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!» Сначала Постойко отнёсся к городскому мальчику очень недоверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил с ним играть,

и они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился, что смело приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ: до того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойко с собой, как его ни уговаривали оставить эту затею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нём только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его, и ласкала, — они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках. <...>

III

Как ужасно долго тянулись дни для заключённых... Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным светом, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. Просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водолаза слышался последним, точно кто ко-

лотил пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная тревога.

— Идут, идут!..

Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом всё смолкало разом, когда никто не приходил.

Но вот слышались шаги... Все настораживались. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в неё врывался яркий дневной свет, всё мгновенно стихало. У деревянных решёток виднелись собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идёт смотритель со своей неизменной трубочкой, за ним вышагивает верзила, ловивший собак арканом, — он же и вешал их. За ними являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей-то хозяин пришёл!.. Кого выпустят на волю?.. Водолаз чуть не разломал решётку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжёлая машина, оглушая лаем весь сарай!..

— Ну что, брат, не понравилось? — шутил хозяин. — То-то, вперёд будь умней...



Комнатные собачонки с визгом лезли к решётке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходили. Смотритель обходил все отделения и коротко говорил:

— Повесьте очередных...

Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете — с таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, где сидел Постойко, уведена была пёстрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим мучителем: лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели жёлтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут... — говорил он утром. — Нет, этого не может быть!.. За что же меня вешать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут, — успокаивал его Постойко. — Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть на этого Барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов, — говорили с отчаяньем эти добрые собачьи глаза. — Всего несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего несколько часов...

— Вот он!.. — крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решётке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. Приведённый в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах.

— Возьмите его, — сказал смотритель, указывая на Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него мороз пошёл по коже: ещё два дня, и его уведут точно так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночью не мог спать. Грезились деревня, поля, леса... Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдёшь. Да...

Прошёл четвёртый день.

Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться ещё раз. Да, ему слышались и знакомые шаги, и знакомый голос, и всё это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постойком, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в минуту такого отчаянья он вдруг слышит:

— Не у вас ли наша собака?

— А какой она породы?

— Да никакой породы, батюшка... Наша деревенская собака.

— Ну, назовите масть?

— Да масти нет никакой... так, — хвост закорючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите — уж я узнаю...

— Её Постойком зовут, — прибавил детский голос.

Постойко не поверил сначала собственным ушам... Столько раз он напрасно слышал эти голоса...

— Да вот он сидит, Постойко-то наш! — заговорила Андреевна, указывая на него. — Ах ты, милаш... Да как же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Постойке, — говорил зритель. — Вон у нас сколько собак сидит... И жаль другую, а приходится убивать.



Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал Аргуса.

— Прощай, братец, — проговорил он, виляя хвостом. — Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли... — уныло ответил Аргус, провожая счастливец своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так висеть бы тебе на верёвочке! — наставительно говорила Андреевна прыгавшему около неё Постойке. — Смотри у меня, пострел.



Сравните рассказы А.П. Чехова и Д.Н. Мамина-Сибиряка.

К.Г. Паустовский
Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завёрнутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слёз глазами...



— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, *оголец*!

— А вы не лайтеесь, это заяц особенный, — хриплым шёпотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожжённые.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слёзы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоём слёзы льёте? Ай случилось что?

— Пожжённый он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожёг, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрёт.

— Не умрёт, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пушай несёт его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Урженское озеро. Он не шёл, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашёл на дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повёл рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жар-

кий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые *онучи* и новые лапти, взял *посох* и кусок хлеба и пошёл в город. Ваня нёс зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчицьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберёт! — сказал он и сплюнул.



Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в *пенсне* и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протёр, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрёпанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрались до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полями уже горел стог сена, зажжённый ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрёпанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился:

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребёнок, что заяц — всё одно, — упрямо пробормотал дед. — Всё одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Ещё через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.



Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понёс домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живёт на воле. При сём остаюсь Ларион Малавин».

...Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно кричали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели, и звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял

Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенах и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошёл дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идёт прямо на него. Ветер перешёл в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шёл со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.



Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель дед знал, что звери гораздо лучше человека чувят, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?



— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.



Оголéц — озорной мальчишка.

Онúчи — обмотки, портянки.

Суховéй — сухой горячий ветер.

Пенснé — очки без дужек, укреплённые на переносице.

Крáтер — углубление в вершине вулкана, похожее на воронку.

М.М. Пришвин
Двойной след

Кто никогда не видел тетерева, не подумает, что самец и самка — одна и та же птица тетерев. Самка у них просто серая курочка. Самец — чёрный с синим отливом, брови ярко-красные, хвост расходится лирой, и под лирой белый, как снег, подхвостник.

У них неважная семейная жизнь. Петухи всю весну проводят в боях на току, а после того сильно болеют, кто от побоев, и все от линьки. Потеряв много перьев, они всего боятся и забираются на лето в крепкие, глухие места. Вся тяжесть высиживания, выращивания, охраны детей ложится на мать, на эту серую курочку. Зато и дорожит же она своими цыплятами! Ничего не боится, защищая детей. Убить её ничего не стоит. Но законы охотничьи покровительствуют матерям, и маток убивать строго запрещается.

Однажды я очень неудачно охотился. Было совестно перед хозяйкой дома возвращаться без дичи. А главное, в деревне в это время не только мяса, но и хлеба трудно достать; что убьёшь, тем и покормишься. Подходя к дому, я вспомнил, что неподалёку в еловом перелеске с можжевельником не раз спугивал старого петуха-черныша, и ещё там жила матка с одним молодым петушком, довольно взрослым.

Конечно, мне хотелось лучше убить старого черныша, мясо его хотя и не так вкусно, как молодого, но зато в нём его много больше. И я пустил Кенту в то место, где спугивал не раз черныша.

Только я пустил собаку, она сразу стала сильно причуивать, что не на бруснике, потом подняла голову и втянула в себя воздух. Ноздри её заиграли, глаза засверкали. Я сразу понял: петух был где-то здесь. Вот она осела на ногах, стала маленькая и, переступая медленно с лапки на лапку, повела к

петуху. Мы немного прошли. Кента замерла возле одного куста и подогнула переднюю лапу. Она мне этим сказала:

— Он здесь!

Эти черныши не глупая птица. Слыша собаку, они часто забегают на ту сторону куста и вылетают там; охотник не может стрельнуть, потому что совсем ничего сзади не видит и только слышит: ту-ту-ту! — полетело. Но мы эту повадку их знаем и, когда собака стала, тихонечко обходим куст и так делаем, что на одной стороне собака стоит, на другой сам станешь с ружьём, а посередине петух.

Я обошёл куст, приготовил ружьё. Потом я сказал тихонечко невидимой мне на той стороне куста Кенте:

— Вперёд! Кентария!

Слово Кентария ничего не значит, неизвестно, как произошло от имени Кента, так же, как это имя произошло от Кэт и Кэт — от первоначального, неудачно данного первым её владельцем, Китти. Тот был не охотник, не понимал, что кричать на букву «и» громко нельзя. Я стал звать на «э», вышла Кэт, а из Кэт само собой получилась какая-то Кента, из Кенты в торжественных случаях, когда надо собаку ободрить и попросить двигаться, выходит Кентария. И окончательное Кентария не помогает, собака всё стоит и дрожит, я говорю ещё почему-то Фунтария. В этот раз, когда я сказал первое «Вперёд», она переступила одной только лапкой и показалась мне через кусты.

— Кентария!

Переступила другой лапкой и опять стала.

— Фунтария!

И она прошла ко мне через весь куст. Мы встретились, петуха между нами, стало быть, не было.

— Где же он? — спросил я.

И она с таким же недоумением спрашивала меня:

— Где же он?

До того смутилась, что смотрела на меня и не отходила.

— Дурочка, — сказал я, — да не в кармане же он у меня, просто он нас надул, поди поищи!

Она поиграла ноздрями и вдруг поняла: пока я куст обходил, он успел выбежать из него на эту полянку и по ней уйти в кусты можжевельника.



Наша охота продолжается. Впереди, где-то в кустах можжевельника, бежит петух. Взлетать ему очень не хочется, вероятно, болезненное линяние не даёт ему уверенности в силе полёта, думает: «С такими крыльями ещё в кусту запутаешься, а лисица тут как тут».

Кенту он, конечно, принимает теперь за лисицу. А ноги у него очень быстрые. Если бы ему во всю силу-то пуститься, нам ни за что бы не догнать. Но ему страшно, что от сильного бега будет очень шевелиться трава и предаст его. Мне случалось подсматривать, как он бежит: пробежит немного, остановится, оглянется, прислушается и опять побежит...

И Кента за ним идёт как раз так, чтобы не отставать и не очень сильно нажимать. Она ход его чувствует по воздуху: он остановится — и она стоит, он идёт — и она за ним.

«Будет ли когда-нибудь конец этому?» — подумал я, замирая, стараясь как можно тише за Кентой ступать.

Ведь каждое мгновение он может взлететь, и каждое мгновение должен быть я готовым, чтобы вскинуть ружьё и стрельнуть иногда даже по мелькнувшему в кусту пятнышку. Волнение так нарастает, что кажется, мы не по чернышу-птице идём, а по какому-то огромному зверю вроде зубра или слона.

Но вот и конец можжевельника. За ним светится болотная полянка с высокой травой-осокой. Из крайнего куста он должен непременно вылететь, не пойдёт же он на поляне шевелить высокую траву! Я держу

ружьё у плеча, но Кента без всякой задержки идёт в осоку.

Так смельчак решился бежать мокрой осокой, рассчитывая скоро уйти в большой лес. Я вижу на траве даже и его бродок: вся масса осоки от мелкого дождя седая, и там, где он прошёл, зеленеет полоска — росу он стряхнул.

Случается, от сильного напряжения при стрельбе из винтовки показываются две мушки: двоится в глазах. Так и тут у меня, должно быть, стало двоиться: я вижу два бродка. И ещё вижу, пояс колечком лежит, хороший, новый, с пряжкой. В другое время с какой бы радостью прибрал я потерянный кем-то пояс. Теперь чуть-чуть покосился и тут же забыл, вот только теперь, как рассказываю, так и вспоминаю о поясе. А бродок всё так же шёл двойной до леса. Очень раздумывать, однако, о том, что двоилось у меня в глазах или на самом деле след был двойной и как могло быть, что от одной птицы шёл двойной след, — времени у меня не было. Я очень спешил и нарочно шумел, чтобы бегущий петух испугался и взлетел удобно для верного выстрела на чистой поляне. Напрасный труд: петух успел вбежать в лес. Однако манёвр не удался: петух напугался и замер в первом ольховом кусту, считая его своим последним убежищем. Кента окаменела, глаза загорелись: он здесь.

Обхожу куст. Вижу, напротив стоит Кента, он между нами, он здесь.

— Вперёд, Кента!

Стоит.

— Вперёд, Кентария!

Стоит.

— Вперёд, Фунтария!

Медленно переводит глаза направо, потом за глазами и нос.

Неужели же на наших глазах он дерзнул бежать вбок из куста? Нет, так у петухов не бывает. Вот и Кента возвращает свой нос на прежнее место:

— Он здесь!

Она в таких случаях никогда не ошибается. И зачем я не сказал в эту минуту ещё раз «Вперёд»? Я промедлил, а Кента перевела нос направо, опять быстро спросилась красными от напряжения глазами и тихонечко, переступая с лапки на лапку, повела вправо...

И как я не понял её, ведь она мне говорила:

— Он здесь сидит, а то движется, и я должна идти туда, то важнее, то движется, это сидит и нас подождёт, это от нас не уйдёт, а то скоро уходит.

Я не понял, даже не вспомнил, что след на траве был двойной.

Мы не долго прошли. Кента стала. Я обошёл куст. В этот раз Кента нажала с первого слова. Тогда с треском и криком вылетел не чёрный петух, а серая матка.

Серое бы её не спасло. Я не успел бы остановить приготовленное движение. Но крик дошёл до меня, и я понял, это не петух, а запрещённая для стрельбы матка.



То не был, однако, крик испуга, очень задорный был крик торжествующей матери. Крик в то же время был и сигналом. Раздалось хлопанье крыльев и в том ольховом кусту, где мы так долго стояли: это улетел спасённый матерью петушок.

Теперь мне стало всё понятно. С самого начала я шёл не по чернышу, а по тетёрке с петушком, и это не двоилось у меня в глазах от напряжения, а действительно след был от двух птиц. В ольховом кусту они были вместе: мать с сыном. Мать в последнее мгновение рискнула и на глазах у меня и собаки выбежала из куста, чтобы отманить собаку от сына и увлечь её за собой. Кента обманулась. Я тоже обманулся. Матка спасла петушка, а я вернулся без дичи домой.

-  1. Расскажите о торжестве подвига матери-тетёрки.
2. Объясните смысл заголовка. В чём секрет двойного следа?

С.Я. Маршак
Кошкин дом
(Пьеса-сказка.
Отдельные действия)

Действие первое

Х о р
Бим-бом! Тили-бом!
На дворе — высокий дом.
Ставенки резные,
Окна расписные.
А на лестнице ковёр —
Шитый золотом узор.
По узорному ковру
Сходит кошка поутру.

У неё, у кошки,
На ногах сапожки,
На ногах сапожки,
А в ушах серёжки.
На сапожках —
Лак, лак.
А серёжки —
Бряк-бряк.

Платье новое на ней,
Стоит тысячу рублей.
Да полтысячи тесьма,
Золотая бахрома.

Выйдет кошка на прогулку
Да пройдёт по переулку —
Смотрят люди, не дыша:
До чего же хороша!



Да не так она сама,
Как узорная тесьма,
Как узорная тесьма,
Золотая бахрома.

Да не так её тесьма,
Как угодья и дома.

Про богатый кошкин дом
Мы и сказку поведём.
Посиди да погоди —
Сказка будет впереди!



Р а с с к а з ч и к
Слушайте, дети:
Жила-была кошка на свете,
Заморская,
Ангорская.

Жила она не так, как другие кошки:
Спала не на рогожке,
А в уютной спальне,
На кроватке маленькой,

Укрывалась алым
Тёплым одеялом
И в подушке пуховой
Утопала головой.



Тили-тили-тили-бом!
Был у кошки новый дом.
Ставенки резные,
Окна расписные.
А кругом — широкий двор,
С четырёх сторон забор.

Против дома, у ворот,
Жил в сторожке старый кот.
Век он в дворниках служил,
Дом хозяйский сторожил,
Подметал дорожки
Перед домом кошки,
У ворот стоял с метлой,
Посторонних гнал долой.

Вот пришли к богатой тётке
Два племянника-сиротки.
Постучались под окном,
Чтобы их впустили в дом.

К о т я т а
Тётя, тётя кошка,
Выгляни в окошко!
Есть хотят котята.
Ты живёшь богато.
Обогрей нас, кошка,
Покорми немножко!

К о т В а с и л и й
Кто там стучится у ворот?
Я — кошкин дворник, старый кот!

К о т я т а
Мы — кошкины племянники!

К о т В а с и л и й
Вот я вам дам на пряники!
У нас племянников не счесть,
И всем охота пить и есть!





К о т я т а

Скажи ты нашей тётке:
Мы круглые сиротки,
Изба у нас без крыши,
А пол прогрызли мыши,
А ветер дует в щели,
А хлеб давно мы съели...
Скажи своей хозяйке!

К о т В а с и л и й
Пошли вы, попрошайки!
Небось хотите сливок?
Вот я вас за загривок!



К о ш к а

С кем говорил ты, старый кот,
Привратник мой Василий?

К о т В а с и л и й
Котята были у ворот —
Поесть они просили.

К о ш к а

Какой позор! Была сама
Котёнком я когда-то.

Тогда в соседние дома
Не лазили котята.

Чего от нас они хотят,
Бездельники и плуты?
Для голодающих котят
Есть в городе приюты!

Нет от племянничков житья,
Топить их в речке надо!

*Раздаётся звонок и шум голосов.
Это пришли гости.
Случился пожар, и кошкин дом сгорел.*

Действие четвёртое

К о ш к а

Ах, Василий, мой Василий,
И сюда нас не пустили...
Обошли мы целый свет —
Нам нигде приюта нет!

К о т В а с и л и й

Вот напротив чья-то хата.
И темна, и тесновата,
И убога, и мала,
В землю, кажется, вросла.
Кто живёт в той хате с краю,
Я и сам ещё не знаю.
Попытаемся опять
Попроситься ночевать!



Р а с с к а з ч и к
Вот шагает по дороге
Кот Василий хромоногий.
Спотыкаясь, чуть бредёт,
Кошку под руку ведёт.
Вниз спускается дорожка,
А потом бежит на скат.
И не знает тётя кошка,
Что в избушке у окошка —
Двое маленьких котят,
Двое маленьких котят
Под окошечком сидят.
Слышат малые, что кто-то
Постучался к ним в ворота.

Г о л о с о д н о г о и з к о т я т
Кто там стучится у ворот?

К о т В а с и л и й
Я кошкин дворник, старый кот.
Прошу у вас ночлега,
Укройте нас от снега!

К о т я т а
Ах, кот Василий, это ты?
С тобою тётя кошка?
А мы весь день до темноты
Стучались к вам в окошко.
Ты не открыл для нас вчера
Калитки, старый дворник!

К о т В а с и л и й
Какой я дворник без двора!
Я нынче беспризорник...

К о ш к а
Простите, если я была
Пред вами виновата.

К о т В а с и л и й
Теперь наш дом сгорел дотла,
Впустите нас, котята!

1-й к о т ё н о к
Я навсегда забыть готов
Обиды и насмешки,
Но для блуждающих котов
Есть в городе ночлежки!



К о ш к а
Мне до ночлежки не дойти.
Я вся дрожу от ветра!

К о т В а с и л и й
Туда окольного пути
Четыре километра.

К о ш к а
А по короткому пути
Туда и вовсе не дойти!

2-й к о т ё н о к
Ну, что ты скажешь,
старший брат,
Открыть для них ворота?

К о т В а с и л и й
Сказать по совести, назад
Брести нам неохота...



1-й к о т ё н о к

Ну, что поделать! В дождь и снег
Нельзя же быть без крова.

Кто сам просился на ночлег —
Скорей поймёт другого.

Кто знает, как мокра вода,
Как страшен холод лютый,
Тот не оставит никогда
Прохожих без приюта!

2-й к о т ё н о к

Да ведь у нас убогий дом,
Ни печки нет, ни крыши.
Почти под небом мы живём,
А пол прогрызли мыши.

К о т В а с и л и й

А мы, ребята, вчетвером,
Авось починим старый дом.
Я и печник, и плотник,
И на мышей охотник!

К о ш к а

Я буду вам вторая мать.
Умею сливки я снимать.
Мышей ловить я буду,
Мыть языком посуду...
Впустите бедную родню!

1-й к о т ё н о к

Да я вас, тётя, не гоню!
Хоть у нас и тесно,
Хоть у нас и скудно,
Но найти нам место
Для гостей нетрудно.

2-й котёнок
Нет у нас подушки,
Нет и одеяла.
Жмёмся мы друг к дружке,
Чтоб теплее стало.

К о ш к а
Жмётесь вы друг к дружке?
Бедные котята!
Жаль, мы вам подушки
Не дали когда-то...



К о т В а с и л и й
Не дали кровати,
Не дали перины...
Был бы очень кстати
Нынче пух куриный!

Зябнет ваша тётя,
Да и я простужен...
Может быть, найдёте
Хлебца нам на ужин?

1-й котёнок
Вот сухая корка,
Можем поделиться.

2-й котёнок
Вот для вас ведёрко,
Полное водицы!

К о т я т а (вместе)
Хоть у нас и тесно,
Хоть у нас и скудно,



Но найти нам место
Для гостей нетрудно!

Кошка
Спать мне хочется — нет мочи!
Наконец нашла я дом.
Ну, друзья, спокойной ночи...
Тили-тили... тили... бом!
(Засыпает.)

Действие пятое

Хор
Бим-бом! Тили-бом!
Был на свете кошкин дом.
Справа, слева — крыльца,
Красные перильца,
Ставенки резные,
Окна расписные.



Тили-тили-тили-бом!
Погорел у кошки дом.
Не найти его примет.
То ли был он, то ли нет...
А идёт у нас молва —
Кошка старая жива.
У племянников живёт!
Домоседкою сльвёт.

Уж такая домоседка!
Из ворот выходит редко,
Ловит в погребе мышей,
Дома нянчит малышей.



Поумнел и старый кот.
Он совсем уже не тот.
Днём он ходит на работу,
Тёмной ночью — на охоту.

Целый вечер напролёт
Детям песенки поёт...
Скоро вырастут сиротки,
Станут больше старой тётки.
Тесно жить им вчетвером —
Нужно ставить новый дом.

К о т В а с и л и й
Неприменно ставить нужно.
Ну-ка, сильно! Ну-ка, дружно!
Всей семьёю, вчетвером,
Будем строить новый дом!

К о т я т а
Ряд за рядом брёвна
Мы положим ровно.

К о т В а с и л и й
Ну, готово. А теперь
Ставим лесенку и дверь.

К о ш к а
Окна расписные,
Ставенки резные.

1-й к о т ё н о к
Вот и печка
И труба.



2-й котёнок
Для крылечка
Два столба.

1-й котёнок
Чердачок построим.

2-й котёнок
Тёсом дом покроем.

К о ш к а
Щёлки паклею забьюм.

В с е (вместе)
И готов наш новый дом!



Возьмите книгу С.Я. Маршака с пьесой-сказкой «Кошкин дом» и прочитайте полностью.

В.П. Астафьев
Стрижонок Скрип

Стрижонок вылуپился из яичка в тёмной норке и удивлённо пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к тёплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шёл дождь, падали одна за другой капли. И стриженку казалось, что это мама-стрижиха стучит ключом по скорлупке яйца. Она так же стучала, перед тем как выпустить его наружу.

Стрижонок проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц.

А самой мамы не было.

— Скрип! — позвал её стрижонок.

— Скрип! Скрип! Скрип! — повторили за ним братья и сёстры.

Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали:

— Скрип! Скрип! Скрип!

И тут далёкое пятнышко света потухло. Стрижата притихли.

— Скрип! — слышалось издалека.

«Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей.

Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала её Скрипу — первому стрижонку.

Какая это была вкусная капля! Стрижонки Скрип проглотил её и пожалел, что капля такая маленькая.

— Скрип! — сказал он. Ещё, мол, хочу.

— Скрип-скрип! — радостно ответила мама-стрижиха. Сейчас, дескать, сейчас.

И опять её не стало. И опять стриженная тоскливо запищала. А первый стрижонки кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва.

И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал: «Скрип!» — и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку.

Обидно. Примолк стрижонки Скрип, рассердился на маму и братьев с сестрёнками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала её другому стрижонку, Скрип попытался отнять её. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других.

Понял стрижонки, какая у них серьёзная и строгая мама. Её не разжалобишь писком.

Так начал жизнь в норке стрижонки Скрип вместе с братьями и сёстрами.

Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили

стрижата, а точнее, ласточки-береговушки. И были у них папы и мамы. А вот у стригонок Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом.

Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой.

Стригонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему всё время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестрёнки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть!

А ещё ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях.

Пополз стригонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет.

Боязно!

Но Скрип был храбрый стригонок, он полз и полз.

Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха,

схватила его, уволокла в глубь норки — и раз-раз — его клювом по голове! Сказала сердито: «Скрип-скрип!» — и ещё по голове...

Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно была Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей!

Сидит на вершине берёзы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползёт меж камней чёрная гадюка.

Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное «тиу!». Тогда мама-стрижиха бросала всё, даже мошку или каплю воды и, тоже крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки.

И все стрижи с криком «тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они всё равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела.

Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом — разбойником-соколом.

Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей Белое брюшко дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама-стрижиха ещё гналась за коршуном, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам.



Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унёс в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло...

Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал её. И братцы и сестрёнки тоже звали. Мама не появлялась, не приносила еду.

Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло всё на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестрёнками без мамы.

Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придётся.

Но Скрип ещё не знал, какой дружный народ стрижи! Ночью к ним нырнул вожак Белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведальась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали ещё стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды.

А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белое брюшко.

Выросли стрижата. Не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло — самим добывать себе пищу и строить свой дом.

Это было радостно и жутко!

Скрип помнит, как появился в норке вожак Белое брюшко. Вместо того чтобы дать Скрипу мошку или капельку, он ухватил его за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу.

Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и... полетел! И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все! И погнали его от норки навстречу ветру, ослепительному солнцу.

— Скрип! Скрип! — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. — Скрип! Скрип!



«А если упаду?» — с ужасом подумал он.

Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.

Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой! И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» — и закружился, закружился над рекой, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось — темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь её брюшком.

А потом Скрип и сам стал помогать стригам — вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал:

— Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!..

И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полёт, вечный полёт.

Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полёте, и оттого надо им всё время есть, всё время пить. Но день кончился. Он ещё раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти её не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою

норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь?

Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу! На берегу страшно.

И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклёвывал её и уносил к воде, снова возвращался к яру и опять клевал, скрёб, а в землю подался чуть-чуть.

Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем ещё не глубокую норку.

Неподалёку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только не пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами!



Но ничего попались ребяташки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул:

— Тиу!

Все стрижи высыпали из норок, глядят — никого нет. Ребяташки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели — молодой ещё.

Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житьё, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался в глубь яра, что норку эту отличал уже ото всех.

Как-то опять пришли мальчишки, засунули руки, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы мальчишки! И вообще совесть надо иметь!»

Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, он стал стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а всё летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину, и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа, на рассвете, вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко.

— Тиу! — крикнул вожак.

В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлёт.

Взмыл Скрип и видит: всё небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту.

— Тиу! — звал вожак.

И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю.

— Скрип! Скрип! — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем.

— Скрип! До свидания! — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли.

— До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку! — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки.

Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собою лето.



Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает.

Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее! Приноси нам на крыльях лето!



Возьмите в библиотеке книгу «Рассказы о животных» (любое издание). Выберите и прочитайте один из рассказов.

С.В. Михалков

Ошибка

Басня

Прибежал как-то Заяц к Журавлю.

— Журавушка, дорогой! Ты хорошо зубы лечишь, вставь мне, пожалуйста, зубы!

— Да они у тебя хорошие!

— Хороши, да малы! Вставь мне львиные клыки!

— Зачем тебе клыки?

— Я с Лисой рассчитаться хочу! Надоело мне от неё бегать, пусть теперь она от меня побегает!

Улыбнулся Журавль и вставил Зайцу искусственные зубы — два львиных клыка. Совсем как настоящие! Страшно смотреть!

— Вот здорово! — воскликнул Заяц, посмотрев на себя в зеркале. — Побегу Лису искать!

Бежит Заяц по лесу — Лису ищет, а она сама ему навстречу из-за кустов выходит. Увидел Заяц Лису и бросился от неё

наутёк. Прибежал к Журавлю — дрожит, трясётся от страха.

— Жу-жу-равушка, дорогой! Замени скорей клыки!

— А эти чем плохи?

— Не плохи, да малы! Против Лисы не годятся! Может, у тебя побольше есть?

— Не поможет! — ответил Журавль, ошибся я, Косой. Надо было сердце тебе заменить: твоё, заячье, выкинуть, а львиное поставить.

 Есть ли в вашей домашней библиотеке книги с баснями русских баснописцев? Найдите, рассмотрите и перечитайте знакомые басни.

В.Ю. Драгунский
Девочка на шаре
(В сокращении)

<...>

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковёр, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом закупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво — в красные костюмы, с жёлтыми полосками. Они встали

по бокам занавески, и между ними прошёл их начальник в чёрном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглёр, и началась потеха! Он кидал шарики, по десять или сто штук вверх, и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть... Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблукom наподдавал, и мяч катался по всему его телу как примагниченный. Это было очень красиво. <...>

И когда жонглёр убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. И тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего; и оркестр опять заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше.



И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у неё были длинные руки; она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела прыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, голубой шар вёз её на себе: она могла ехать на нём и прямо, и назад, и налево, куда хочешь! Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, наверно, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё было, как в сказке. И тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу, и светилась,

и звенела, и это было удивительно, — я за всю свою жизнь не видел ничего подобного.

И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво», и я тоже кричал «Браво». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперёд, к нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния, и ещё, и ещё раз, и всё вперёд. И мне показалось, что вот сейчас она разобьётся о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить её и спасти, но девочка вдруг остановилась как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я её вижу и что я тоже вижу, что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, и я протянул руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я всё время думал про девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом. Потому что он мне портил мою девочку: она всё ещё мне представлялась на своём голубом шаре.



А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель всё время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал на пол рядком и ходил по львам ногами, как по ковру, а у них был такой вид, что им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних *пампасах* и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет *туземное население*. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И когда представление закончилось и мы пришли домой, я всё время думал про девочку на шаре.

А вечером папа спросил:

— Ну как? Понравилось в цирке?

Я сказал:

— Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдём в следующее воскресенье в цирк! Я тебе её покажу!

Папа сказал:

— Обязательно пойдём. Обожаю цирк!

А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз.

...И началась длинная неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и всё равно каждый день думал, когда же придёт воскресенье и мы с папой пойдём в цирк, и я снова увижу девочку на шаре, и покажу её папе, и, быть может, папа пригласит её к нам в гости, и я подарю ей пистолет-браунинг и нарисую корабль на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна, и после них у мамы разболелась голова, а папа сказал мне:

— В следующее воскресенье... Даю клятву верности и чести.

И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил ещё одну неделю. И папа сдержал своё слово: он пошёл со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось, и я начал

ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, всё время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали по-всякому, но девочка всё не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своём серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегают по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе:

— Сейчас он объявит её!

Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась, и я всё время говорил папе:

— Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то! <...>

Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул:

— Ант-рра-кт!

Я просто ушам своим не поверил! Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала и у неё сотрясение мозга?

Я сказал:

— Папа, пойдём скорее, узнаем, где же девочка на шаре!

Папа ответил:

— Да, да! А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать! Пойдём-ка купим программку. <...>

И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и ваф-

ли, и на стенках висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и начал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролёрши:

— Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?

— Какая девочка?

Папа сказал:

— В программке указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?

Я стоял и молчал.

Контролёрша сказала:

— Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что ж вы поздно хватились?

Я стоял и молчал.

Папа сказал:

— Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а её нет.

Контролёрша сказала:

— Да она уехала... Вместе с родителями... Родители у неё «Бронзовые люди — Два-Яворс». Может, слышали? Очень жаль. Вчера только уехали. <...>

Я сказал:

— А куда, неизвестно?

Она сказала:

— Во Владивосток.

Вот куда. Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо.

Я сказал:



— Какая даль.

Контролёрша вдруг заторопилась:

— Ну идите, идите на места, уж гасят свет!

Папа подхватил:

— Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат — ужас! Бежим смотреть!

Я сказал:

— Пойдём домой, папа.

Он сказал:

— Вот так раз...

Контролёрша засмеялась. Но подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка.

Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго, потом я сказал:

— Владивосток — это на самом краю карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь...

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли ещё немного, и я вдруг вспомнил про самолёты и сказал:

— А на «Ту-104» три часа — и там!

Но папа всё равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:

— Зайдём в кафе «Мороженое». Смутузим по две порции, а?

Я сказал:

— Не хочется что-то, папа.

— Там подают воду, называется «Кахетинская». Нигде в мире не пил лучше воды.

Я сказал:

— Не хочется, папа.

Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шёл очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шёл так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьёзное и грустное лицо.



Пампáсы — степи в Южной Америке.

Тузёмное населéние — коренные жители далёких малоразвитых стран.



Какие рассказы В.Ю. Драгунского вы знаете? Есть ли в вашей библиотеке книжки-сборники этого писателя? Рассмотрите одну из них.



Джон Джей Пленти и другие

Братья Гримм
Умная дочь крестьянская
(Перевод с немецкого языка
Г.Н. Петникова)

Жил когда-то на свете бедный крестьянин; земли у него вовсе не было, и была у него всего лишь одна небольшая избушка да единственная дочка. Вот и говорит раз дочка отцу:

— Надо бы нам выпросить у короля хотя бы какой-нибудь кусок пустоши.

Услыхал король про их бедность и подарил им клочок луга. Перепахала она его вместе с отцом, и собрались они посеять на нём рожь да ещё что-нибудь. Вспахали они почти уже всё поле и вдруг нашли в земле ступку, а была она из чистого золота.

— Знаешь что, — сказал отец дочке, — господин король был к нам так милостив,

что подарил нам эту землю. Давай отдадим мы ему за это золотую ступку.

Но дочь на это не согласилась и говорит:

— Батюшка, если есть у нас одна только ступка, а пестика нету, то с нас ведь потребуют ещё и пестик, — лучше уж вы помолчите.

Но отец её не послушался, взял ступку и отнёс её королю и сказал, что нашёл её на лугу, и спросил, не примет ли он её от него в дар. Взял король ступку и спрашивает:

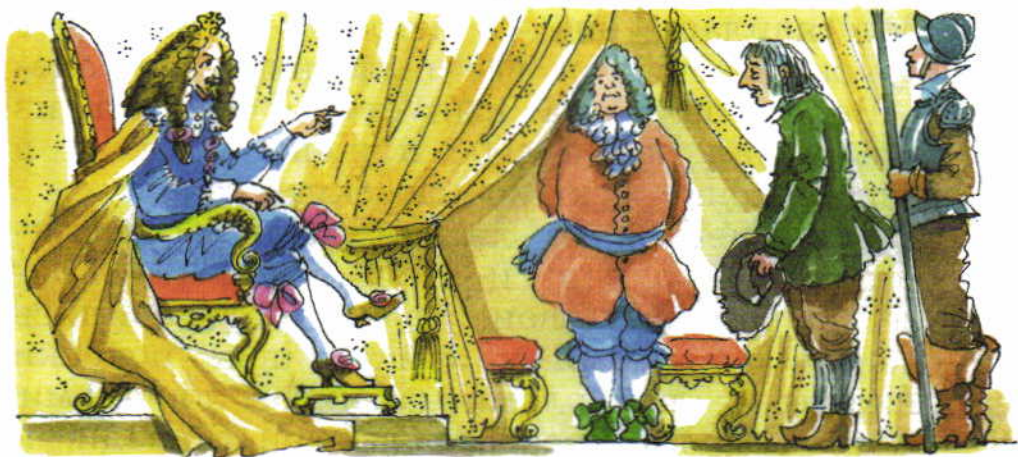
— А не находил ли ты ещё чего?

— Нет, — ответил крестьянин.

И сказал король, чтоб доставил он ему и пестик. Крестьянин сказал, что такого они, мол, не находили, но этот ответ помог ему мало, — всё равно, что говорить на ветер. И посадили его в темницу, чтобы сидел он там, пока пестика не достанет. Тюремщики приносили ему каждый день хлеб да воду — то, что в тюрьме полагается; и услышали тюремщики, как он всё повторял про себя: «Ах, если б я послушался своей дочери! Ах, если б я послушался своей дочери!» Тогда пошли тюремщики к королю и доложили, что узник всё кричит и повторяет: «Ах, если б я послушался своей дочери!» — а от пищи и питья отказывается. И приказал король тюремщикам привести узника к нему, и спросил его король, отчего это он всё кричит: «Ах, если б я послушался своей дочери!»

— Что же такое сказала твоя дочь?

— Да она сказала, чтоб я не относил вам ступки, а то потребуют с меня ещё и пестик.



— Если у тебя такая разумная дочь, то пускай она явится ко мне.

И вот пришлось ей идти к королю, и стал он спрашивать, так ли уж она и вправду умна; и сказал, что хочет задать ей одну задачу; если она её решит, то он женится на ней. Она тотчас сказала «хорошо» и согласилась её решить. Тогда король и говорит:

— Приходи ко мне не одетая и не голая, не верхом и не в повозке, не путём, а всё же дорогою, — если ты сможешь это выполнить, то я на тебе женюсь.

Вот пошла она, разделась совсем догола — и стала она неодетая; и взяла большую рыбачью сеть, стала в неё и укуталась ею — вот и не была она голая; наняла она себе за деньги осла и привязала ту сеть к ослиному хвосту, чтоб тащил он её, — вот и не ехала она ни верхом, ни в повозке; а осёл должен был тащить её по колее, и касалась она земли одним только большим пальцем ноги — и вот шла она ни путём, ни без доро-

ги. Вот явилась она, и король сказал, что задачу она решила и всё выполнила как следует. Велел он тогда выпустить её отца из темницы, взял он её себе в жёны и отдал в её распоряжение всю королевскую казну.

Прошло несколько лет. И выехал однажды король на парад; и случилось, что крестьяне, распродав свои дрова, остановились со своими повозками у замка; иные повозки запряжены были волами, а иные лошадьми. И было у одного крестьянина три лошади, и одна из них с маленьким жеребёнком; жеребёнок убежал и лёг между волами, запряжёнными в повозку. Сойдясь, крестьяне заспорили, задрались между собой и стали шуметь; тот, у кого были волы, хотел взять себе жеребёнка, утверждая, что он-де родился от его волов, а другой сказал: «Нет, он от моих лошадей родился, и должен он остаться у меня». И дошёл их спор до самого короля, и он вынес приговор: где лежал жеребёнок, там он и должен остаться; и вот жеребёнка получил крестьянин, который приехал на волах, а ему он и вовсе не принадлежал. И пришлось другому уйти ни с чем; заплакал он с горя о пропавшем своём жеребёнке. И вот узнал он о том, что госпожа королева очень милостива, потому что сама родом из бедных крестьян; и он пошёл к ней, стал её просить, не может ли она ему помочь вернуть его жеребёнка.

Она сказала:

— Ладно, если ты мне пообещаешь, что меня не выдашь, то я скажу, как надо сде-

лать. Рано поутру, когда король будет проезжать на развод караулов, стань посреди улицы, где он будет следовать, возьми большой невод и делай вид, будто ловишь рыбу, и всё продолжай тянуть сеть и вытряхивать, будто она полна рыбы, — и она объяснила ему, что должен он ответить, если король станет его спрашивать.

И вот на другой день крестьянин принялся ловить неводом рыбу на суше. Король, проезжая мимо, это увидел и послал своего гонца спросить, чем этот дурак там занимается. Тот ответил:

— Я рыбу ловлю.

А гонец спрашивает, как же он может ловить рыбу, когда нет воды. Тогда крестьянин сказал:

— Да так же, как от двух волов может родиться жеребёнок, так вот и я ловлю рыбу на суше.

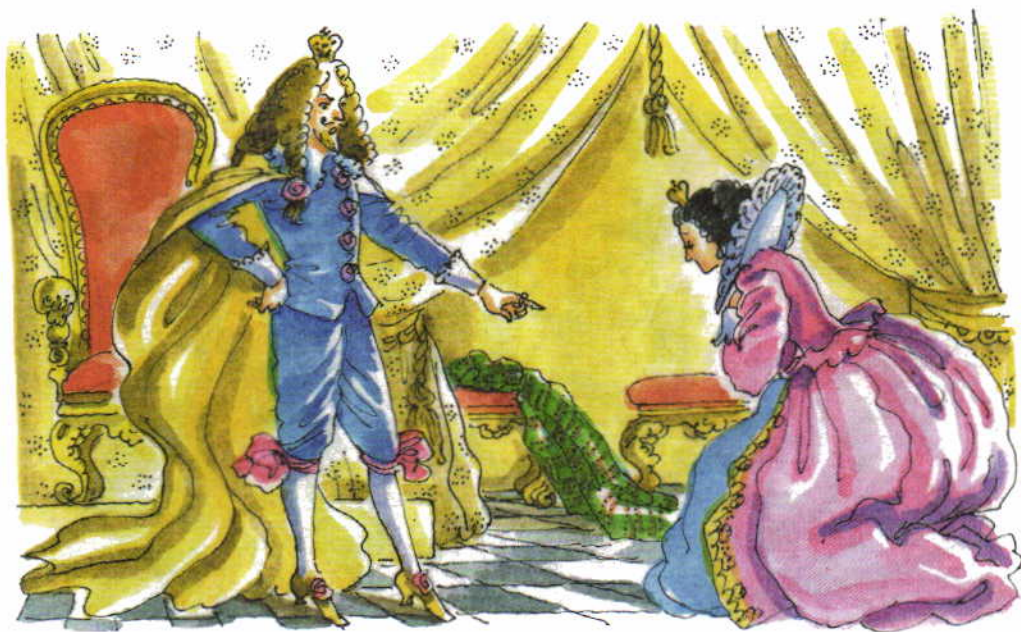


Гонец передал его ответ королю; и приказал король привести к нему крестьянина и объявил ему, что это не сам он придумал и пусть, мол, тотчас сознаётся, кто его этому научил. Но крестьянин сознаваться не хотел и всё говорил: «Да Боже упаси! Сам я придумал!» Разложили его тогда на соломе и стали бить и пытать, пока он, наконец, не сознался, что этому научила его королева.

Воротился король домой и говорит своей жене:

— Зачем ты мне говоришь неправду? Отныне не хочу я, чтоб была ты моею женой; прошли твои денёчки, ступай туда, откуда пришла, — в крестьянскую свою избёнку.

Однако на прощание он дозволил ей взять с собой то, что всего ей дороже да милей.



И молвила она:

— Хорошо, мой милый муженёк, если ты велишь, то я так и сделаю, — и она кинулась к нему в объятия, стала его целовать и сказала, что хотелось бы ей с ним как следует проститься. И она велела принести крепкого сонного зелья, чтоб выпить с ним напоследок; и выпил король весь кубок залпом, а она еле хлебнула. И вот вскоре впал он в глубокий сон; увидев это, она позвала слугу, взяла красивое белое покрывало, укутала в него короля и велела слугам вынести его и положить в карету и отвезла его тайком в свою избушку. Положила она его в свою постельку, и спал он целый день и целую ночь, а когда проснулся, огляделся и говорит:

— Ах, Господи, где же это я? — и стал звать своего слугу, но никто не явился. Подошла, наконец, к постели жена и говорит ему:

— Мой милый король, вы мне велели, чтоб взяла я с собой из замка самое что ни на есть для меня дорогое да любимое, но нету для меня ничего дороже и милее на свете тебя, — вот и взяла я тебя вместе с собой.

Навернулись слёзы на глаза у короля, и сказал он ей:

— Дорогая жена, ты должна быть моею, а я твоим, — и взял он её снова в свой королевский замок и велел отпраздновать свадьбу ещё раз; и живут, пожалуй, они и до нынешних дней.

 1. Сравните эту немецкую сказку с русской народной сказкой «Дочь-семилетка» и сказкой «Умная внучка». Чем они похожи и чем различаются?

2. Познакомьтесь в библиотеке с книгами братьев Гримм.

Х.-К. Андерсен

Снеговик

(В сокращении.

Перевод с датского языка

А.В. и П.Г. Ганзен)

I

— Так и хрустит во мне! Славный мороз! — заговорил снеговик. — И ветер здорово кусает. А то пучеглазое всё таращится? — Это он говорил про солнце, которое клонилось к закату. — Ладно, ладно, я и не сморгну! Не выроню своих черепков!

У снеговика во лбу торчали вместо глаз два треугольничка черепицы, а вместо рта — обломок граблей, так что снеговик-то был зубастый.

На свет он появился под громогласное «ура» мальчишек, вылепивших его, под звон бубенцов, скрип санных полозьев и щёлканье извозчичьих кнутов. Солнце село; на голубом небе показалась луна, полная, большая, яркая.

— Теперь оно с другого боку вылезло! — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце появилось. — Всё-таки я отучил его

таращиться прямо на меня. Пусть себе висит там сбоку и светит потихоньку, чтобы мне виднее было себя самого. Эх, знать бы, как сдвинуться с места. Уж так бы хотелось! Сейчас же спустился бы на лёд покататься, как давеча мальчишки. Да вот с места не сдвинуться.

— Вон! Вон! — хрипло залаял цепной пёс; он охрип с тех пор ещё, как был комнатной собачкой и всё лежал под печкой. — Солнце сдвинет тебя с места! Как твоих братцев — в прошлом и в позапрошлом году. Вон! Вон! Все убрались вон!

— Я что-то не пойму тебя, приятель, — сказал снеговик. — То, что висит там, наверху, сдвинет меня с места? — Теперь снеговик говорил про луну. — Да оно само убралось отсюда, когда я на него поглядел в упор. А теперь с другого боку подкралось.

— Ничего ты не смыслишь, — сказал цепной пёс. — Ещё бы! Давно ли тебя и вылепили-то?.. То, что ты видишь там сейчас, зовётся луной, а то, что ушло, — солнцем. Завтра оно опять вернётся и, погоди, скоро сдвинет тебя с места — в канаву! Чую, погода переменится, — левая лапа ноет. К перемене погоды.

— Не поймёшь его, — сказал про себя снеговик, — но, сдаётся, он недоброе мне сулит. И то пучеглазое, что он солнцем зовёт, тоже нёдруг мне, чую.

— Вон! Вон! — пролаял цепной пёс, три раза обернулся вокруг себя самого и улёгся в своей конуре подремать.

II

А погода на самом деле как будто собиралась перемениться. На рассвете всё было окутано густым тягучим туманом. Но попозже утром он разошёлся. Подул леденящий ветер, и мороз окреп.

А что за красота открылась взорам, когда солнце выглянуло! Все деревья и кусты стояли в инее — настоящий лес из белых кораллов. <...> Под лучами солнца всё это сверкало, искрилось, словно осыпанное брильянтовой пудрой, а на снежном покрове земли как будто горели крупные алмазы или вспыхивали бесчисленные огоньки белее самого снега.

— Чудо что за красота! — воскликнула молодая девушка, выйдя в сад под руку с молодым человеком. И остановилась как раз около снеговика, любуясь сверкающими деревьями. — Летом такого великолепия не увидишь! — прибавила она, сама вся сияя.

— А такого молодца и подавно! — подхватил молодой человек, указывая на снеговика. — Он прямо бесподобен.

Молодая девушка рассмеялась, кивнула снеговiku и вприпрыжку пустилась со своим дружкой по снегу, который так и хрустел у них под ногами, словно они ступали по крахмалу.

— Кто такие были эти двое? — спросил снеговик у цепного пса. — Ты здесь подольше моего, — знаешь их?

— Знаю, — ответил цепной пёс. — Она, бывало, меня гладила, а он бросал мне косточки с мясом. Таких я не трогаю.



— А что они собой представляют? — спросил снеговик.

— Паррррочку! — пролаял цепной пёс. — Поселятся в собачьей конуре и будут вместе глотать кости! Вон! Вон!

— А значат ли они оба что-нибудь, вот как ты да я? — спросил снеговик.

— Да они же господа! — ответил цепной пёс. — Видно, и впрямь мало смыслит тот, кто вчера лишь на свет явился, как ты. А я немало прожил и ума нажил. Всех знаю тут, во дворе. И знавал времена получше, когда не дрог здесь на цепи в такой мороз. Вон! Вон!

— Славный мороз! — сказал снеговик. — Ну, ну, рассказывай, рассказывай ещё! Да не греми цепью. У меня внутри всё переворачивается.

III

— Вон! Вон! — лаял цепной пёс. — Я был когда-то щенком. Прехорошеньким щеночком, как все говорили. Лежал на бархатных креслах там, в барском доме, или на коленях у самых важных особ. Меня целовали в мордашку, вытирали мне лапки вышитыми платочками. Называли милашкой, крошкой... Потом я подрос, велик стал для господских покоев. Меня подарили ключнице, и я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть в окно подвала — с твоего места видно. Гляди, вон в той комнатке я и зажил барином. Да, да, барином. Тут хоть пониже было, да зато жилось спокойнее, — тут меня не ласкали и не теребили дети, как там, наверху. А кормили не хуже, если ещё не лучше. У меня была своя подушка, ещё — печка! В мире нет ничего лучше печки в такие вот холода. Я забивался под неё весь целиком. Ох, эта печка до сих пор мне снится. Вон! Вон!

— Что ж, разве уж она так хороша, твоя печка? Похожа на меня? — спросил снеговик.

— Ничутьточки!.. Она чёрная, как уголь. С длинной шейкой и медным брюшком... Она так и пожирает дрова, пышет огнём. Поближе к ней, рядом с ней, под ней — вот где блаженство! Её видно в окошко — погляди.

Снеговик поглядел и в самом деле увидел чёрную, гладкую и блестящую штуку с медным брюшком, откуда светился огонь. Снеговика охватило какое-то странное чувство;

в чём было дело, что такое в нём зашевелилось, он и сам не знал, не понимал, хотя это понял бы любой человек — не из снеговиков.

— Зачем же ты ушёл от неё? — спросил снеговик.

— Поневоле пришлось, — ответил цепной пёс. — Меня вышвырнули из дому и на цепь посадили. Я куснул за ногу барчонка, — он у меня кость хотел отнять. «Кость за кость», — подумал я. Но они там разобиделись. С тех пор я на цепи и голос свой звонкий потерял. Слышишь, как хриплю? Вон! Вон!.. Вот тебе и весь сказ!

IV

Снеговик больше не слушал. Он глаз не сводил с окошка той подвальной комнатки, где жила ключница и где стояла на четырёх железных ножках печка величиною с самого снеговика.

— Что-то скребёт у меня внутри, — сказал он. — Да неужто мне так-таки и не попасть туда никогда? Мне так хочется! И это ведь такое невинное желание, почему бы ему и не сбыться? Это самое заветное и единственное моё желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Я хочу, хочу попасть туда, прижаться к ней, хоть бы пришлось для этого разбить стекло!

— Не попасть тебе туда никогда! — сказал цепной пёс. — А если б даже и попал, — там тебе и конец.

— Мне и так скоро конец. Того и гляди, свалюсь, — вздохнул снеговик.



Весь день стоял он, не сводя глаз с окна. Комнатка в сумерки казалась ещё уютнее. Печка бросала вокруг себя такой мягкий свет, каким не светить ни луне, ни солнцу. Куда им!

Так светить может лишь печка, когда брюшко у неё набито. Один раз это брюшко приоткрыли, оттуда метнулось пламя, и алые блики заиграли на белом лице и даже на груди снеговика.

— Нет, я не вынесу! — сказал он. — Как она мило высовывает язык, как это идёт к ней!

Ночь была долгая-предолгая, только не для снеговика. Он весь отдался своим прекрасным мечтам и дремал, потрескивая на морозе.

К утру все оконные стёкла подвала замёрзли, покрылись чудеснейшим узором из ледяных цветов. Лучших цветов не мог бы пожелать ни один снеговик, но эти цветы скрывали от него печку. Мороз трещал, снег хрустел, погода стояла настоящая зимняя;

снеговику бы радоваться да радоваться, но он не чувствовал ни радости, ни счастья, — он тосковал о печке.

— Это опасная болезнь для снеговика, — сказал цепной пёс. — И я ею страдал, да перемогся. Вон! Вон! Скоро будет перемена погоды.

И перемена наступила — началась оттепель.

Кругом таяло, таял и снеговик. Он ничего не говорил, не жаловался, а это уж плохой признак.

Однажды утром он свалился. На его месте торчало лишь что-то вроде погнутого железного прута, на нём и был укреплён снеговик.

— Теперь я понимаю его тоску, — сказал цепной пёс. — У снегура внутри была кочерга! Вот что скреблось в нём. Теперь всё понятно. Вон! Вон!

Скоро и зима убралась вон.

— Вон! Вон! — лаял цепной пёс.

Девочки во дворе распевали:

Верб, пушк, одевайся!

Подснежник лесной, распускайся!

Кукушки, скворцы, прилетайте!

Весну к нам скорей призывайте!

Мы все вам подтянем

И солнце заманим!..



Вспомните сказки Х.-К. Андерсена. Какую из них вы любите перечитывать? Возьмите в библиотеке книгу с этой сказкой.

Ц. Топелиус
Зимняя сказка

(В сокращении.
Пересказ А.И. Любарской)

В большом дремучем лесу, далеко на севере Финляндии, росли рядом две огромные сосны.

Они были такие старые, такие старые, что никто, даже седой мох, не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми, тонкими сосенками. Отовсюду были видны их тёмные вершины, высоко поднимавшиеся над чащей леса. <...>

Зимой, когда метель закутывала всю землю белым одеялом и цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами, две сосны, словно два великана, сторожили лес.



Зимняя буря с шумом проносила по чаще, сметала с веток снег, обламывала вершины деревьев, валила наземь крепкие стволы. И только сосны-великаны всегда стояли твёрдо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы.

А ведь если ты такой сильный и стойкий — это что-нибудь да значит!

У опушки леса, где росли старые сосны, на небольшом пригорке ютилась хижина, крытая дёрном, и двумя маленькими оконцами глядела в лес. В этой хижине жил бедный крестьянин со своей женой. У них был клочок земли, на котором они сеяли хлеб, и небольшой огород. Вот и всё их богатство. А зимой крестьянин работал в лесу — рубил деревья и возил брёвна на лесопильню, чтобы скопить несколько монет на молоко и масло.

У крестьянина и его жены было двое детей — мальчик и девочка. Мальчика звали Сильвестр, а девочку — Сильвия.

И где только нашли для них такие имена! Наверно, в лесу. Ведь слово «сильва» на древнем, латинском, языке значит «лес».

Однажды — это было зимой — брат и сестра, Сильвестр и Сильвия, пошли в лес, чтобы посмотреть, не попался ли в силки, которые они расставили, какой-нибудь лесной зверёк или птица.

И верно, в один силок попался белый заяц, а в другой — белая куропатка. И заяц, и куропатка были живы, они только запутались лапками в силках и жалобно пищали.



— Отпусти меня! — пролопотал заяц, когда Сильвестр подошёл к нему.

— Отпусти меня! — пропищала куропатка, когда Сильвия наклонилась над ней.

Сильвестр и Сильвия очень удивились. Никогда ещё они не слышали, чтобы лесные звери и птицы говорили по-человечьи.

— Давай-ка и вправду отпустим их! — сказала Сильвия.

И вместе с братом она принялась осторожно распутывать силки.

Едва только заяц почувствовал свободу, как со всех ног поскакал в глубь леса. А куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести её крылья.

— Подопринебо!.. Подопринебо всё сделает, о чём вы ни попросите! — крикнул заяц на скаку.

— Просите Зацепитучу!.. И всё у вас будет, чего только ни захотите! — прокричала куропатка на лету.

И снова в лесу стало совсем тихо.

— Что это они говорили? — сказал наконец Сильвестр. — Про каких это Подопринебо и Зацепитучу?

— И я никогда не слыхала таких странных имён, — сказала Сильвия. — Кто бы это мог быть?

В это время сильный порыв ветра пронёсся по лесу. Вершины старых сосен зашумели, и в их шуме Сильвестр и Сильвия ясно расслышали слова.

— Ну что, дружище, стоишь ещё? — спросила одна сосна у другой. — Ещё держишь небо? Недаром ведь лесные звери прозвали тебя — Подопринебо!

— Стою! Держу! — загудела другая сосна. — А ты как, старина? Всё воюешь с тучами? Ведь и про тебя не зря говорят — Зацепитучу!

— Что-то слабею я, — прошелестело в ответ. — Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит!

— Грешно тебе жаловаться! Тебе ведь всего только триста пятьдесят лет. Ты ещё дитя! Совсем дитя! А вот мне уже триста восемьдесят восемь стукнуло!

И старая сосна тяжело вздохнула.

— Смотри, вон возвращается ветер, — прошептала сосна — та, что была помоложе. — Под его свист так хорошо петь песни! Давай-ка споем с тобой про далёкую старину, про нашу молодость. Ведь нам с тобой есть о чём вспомнить!

И под шум лесной бури сосны, качаясь,
запели свою песню:

Мы скованы стужей, мы в снежном плену!
Бушует и буйствует вьюга.
Под шум её клонит нас, древних, ко сну,
И давнюю видим во сне старину —
То время, когда мы, два друга,
Две юных сосны, поднялись в вышину
Над зыбкою зеленью луга.

Фиалки у наших подножий цвели,
Белили нам хвоею метели,
И тучи летели из мгlistой дали,
И бурею рушило ели.
Мы к небу тянулись из мёрзлой земли,
Нас даже столетья согнуть не могли,
И вихри сломить не посмели...

— Да. Нам с тобой есть о чём вспомнить, есть о чём порассказать, — сказала сосна — та, что была постарше, — и тихонько заскрипела. — Давай-ка поговорим с этими детьми. — И одна её ветка качнулась, как будто показывая на Сильвестра и Сильвию.

— О чём это они хотят с нами поговорить? — сказал Сильвестр.

— Лучше пойдём домой, — шепнула Сильвия брату. — Я боюсь этих деревьев.

— Подожди, — сказал Сильвестр. — Чего их бояться! Да вон и отец идёт!

И верно, по лесной тропинке пробирался их отец с топором на плече.



— Вот это деревья так деревья! Как раз то, что мне нужно! — сказал крестьянин, останавливаясь около старых сосен.

Он уже поднял топор, чтобы подрубить сосну — ту, что была постарше, — но Сильвестр и Сильвия вдруг с плачем бросились к отцу.

— Батюшка, — стал просить Сильвестр, — не тронь эту сосну! Это Подопринебо!..

— Батюшка, и эту не тронь! — просила Сильвия. — Её зовут Зацепитучу. Они обе такие старые! А сейчас они пели нам песенку...

— Чего только ребята не выдумают! — засмеялся крестьянин. — Где же это слыхано, чтобы деревья пели! Ну да ладно, пусть себе стоят, раз уж вы за них так просите. Я найду себе и другие.

И он пошёл дальше, в глубь леса, а Сильвестр и Сильвия остались возле старых сосен, чтобы услышать, что скажут им эти лесные великаны.

<...>

— Вы спасли нам жизнь! — говорили сосны Сильвестру и Сильвии. — Просите же теперь у нас всё, что хотите.

Но, оказывается, не всегда легко сказать, чего ты больше всего хочешь. Сколько ни думали Сильвестр и Сильвия, а ничего не придумали, словно им и желать было нечего.

Наконец Сильвестр сказал:

— Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнце, а то в лесу совсем не видно тропинок.

— Да-да, и я бы хотела, чтобы поскорее пришла весна и растаял снег! — сказала Сильвия. — Тогда и птицы снова запоют в лесу...

— Ах, что за безрассудные дети! — зашелестели сосны. — Ведь вы могли пожелать столько прекрасных вещей! И богатство, и почести, и слава — всё было бы у вас!.. А вы просите то, что случится и без вашей просьбы. Но ничего не поделаешь, надо выполнить ваши желания. Только мы сделаем это по-своему... Слушай же, Сильвестр: куда бы ни пошёл ты, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце. И твоё желание, Сильвия, исполнится: куда бы ты ни пошла, о чём бы ни заговорила, всегда вокруг тебя будет цвести весна и таять холодный снег.

— Ах, это больше, чем мы хотели! — воскликнули Сильвестр и Сильвия. — Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки. А теперь прощайте! — И они весело побежали домой.



По дороге Сильвестр то и дело оглядывался, высматривая куропаток, и — странное дело! — в какую бы сторону он ни поворачивался, всюду мелькал перед ним луч солнца, сверкая на ветках, словно золото.

— Смотри! Смотри! Солнце выглянуло! — крикнула Сильвия брату.

Но едва успела она открыть рот, как снег кругом начал таять, по обе стороны тропинки зазеленела трава, деревья покрылись свежей листвой, а высоко в синеве неба послышалась первая песня жаворонка.

— Ах, как весело! — воскликнули в один голос Сильвестр и Сильвия.

И чем дальше они бежали, тем теплее светило солнце, тем ярче зеленели трава и деревья.

— Мне светит солнце! — закричал Сильвестр, вбегая в дом.

— Солнце всем светит, — сказала мать.

— А я могу растопить снег! — закричала Сильвия.

— Ну, это каждый может, — сказала мать и засмеялась.

Но прошло немного времени, и она увидела, что в доме что-то неладно. На дворе уже совсем стемнело, наступил вечер, а в избушке у них всё блестело от яркого солнца. И так было до тех пор, пока Сильвестру не захотелось спать и глаза у него не закрылись. Но это ещё не всё! Зиме конца не было видно, а в маленькой хижине вдруг повеяло весной. Даже старый, засохший веник в углу и тот начал зеленеть, а петух на своём *насесте* принялся петь во всё горло. И он пел до тех пор, пока Сильвии не надоело болтать и она не заснула крепким сном.

Поздно вечером вернулся домой крестьянин.

— Послушай, отец, — сказала жена, — боюсь я, не околдовал ли кто наших детей. Что-то чудное делается у нас в доме!

— Вот ещё что придумала! — сказал крестьянин. — Ты лучше послушай, мать, какую новость я принёс. Ни за что тебе не догадаться! Завтра в наш город придут *собственными персонами* король и королева. Они ездят по всей стране и осматривают свои владения. Как ты думаешь, не отправиться ли нам с детьми посмотреть на королевскую *чету*?

— Что ж, я не прочь, — сказала жена. — Ведь не каждый день в наши места приезжают такие важные гости.

На другой день чуть свет крестьянин с женой и детьми собрались в путь. По дороге только и было разговоров, что про короля и королеву, и никто не заметил, что

всю дорогу солнечный луч бежал перед сани-
ями (хотя всё небо было обложено низкими
тучами), а берёзки кругом покрывались поч-
ками и зеленели (хотя мороз был такой, что
птицы замерзали на лету).

Когда сани въехали на городскую пло-
щадь, народу там было уже видимо-невиди-
мо. Все с опаской посматривали на дорогу и
тихонько перешёптывались. Говорили, что ко-
роль и королева остались недовольны своей
страной: куда ни приедешь — повсюду снег,
холод, пустынные и дикие места.

<...>

И вот наконец вдалеке показались коро-
левские сани. Народ замер.

На площади король приказал кучеру
остановиться, чтобы переменить лошадей. Ко-
роль сидел, сердито нахмутив брови, а коро-
лева горько плакала.

И вдруг король поднял голову, посмотрел
по сторонам — туда-сюда — и весело рас-
смеялся, совсем так, как смеются все люди.

— Взгляните-ка, ваше величество, — об-
ратился он к королеве, — как приветливо
светит солнце! Право, здесь не так уж пло-
хо... Мне почему-то даже стало весело.

— Это, наверно, потому, что вы изволили
хорошо позавтракать, — сказала королева. —
Впрочем, мне тоже стало как будто веселее.

— Это, вероятно, потому, что ваше величе-
ство хорошо выспались, — сказал король. —
Но, однако, эта пустынная страна очень кра-
сива! Посмотрите, как ярко освещает солнце
вон те две сосны, что виднеются вдалеке.

Положительно это прелестное место! Я прикажу построить здесь дворец.

— Да-да, непременно надо построить здесь дворец, — согласилась королева и даже на минуту перестала топтать ногами. — Вообще здесь совсем неплохо. Повсюду снег, а деревья и кусты покрываются зелёными листьями, как в мае. Это прямо невероятно!

Но ничего невероятного в этом не было. Просто Сильвестр и Сильвия взобрались на изгородь, чтобы лучше разглядеть короля и королеву. Сильвестр вертелся во все стороны — поэтому солнце так и сверкало вокруг; а Сильвия болтала, ни на минуту не закрывая рта, — поэтому даже сухие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой.

— Что это за милые дети? — спросила королева, взглянув на Сильвестра и Сильвию. — Пусть они подойдут ко мне.

Сильвестр и Сильвия никогда раньше не имели дела с коронованными особами, поэтому они смело подошли к королю и королеве.

— Послушайте, — сказала королева, — вы мне очень нравитесь. Когда я смотрю на вас, мне становится веселее и даже как будто теплее. Хотите жить у меня во дворце? Я прикажу нарядить вас в бархат и золото, вы будете есть на хрустальных тарелках и пить из серебряных стаканов. Ну что, согласны?

— Благодарим вас, ваше величество, — сказала Сильвия, — но мы лучше останемся дома.



— Кроме того, во дворце мы будем скучать без наших друзей, — сказал Сильвестр.

— А нельзя ли их тоже взять во дворец? — спросила королева. Она была в отличном расположении духа и нисколько не сердилась, что ей возражают.

— Нет, это невозможно, — ответили Сильвестр и Сильвия. — Они растут в лесу. Их зовут Подопринебо и Зацепитучу...

— Что только не придёт в голову детям! — воскликнули в один голос король и королева и при этом так дружно рассмеялись, что даже королевские сани запрыгали на месте.

Король приказал распрягать лошадей, а каменщики и плотники принялись тотчас строить новый дворец. Как ни странно, на этот раз король и королева были ко всем добры и милостивы. Они никого не наказали и даже распорядились, чтобы их *казначей* дал всем по золотой монете. А Сильвестр и Сильвия получили вдобавок крендель, который испёк сам королевский булочник! Крен-

дель был такой большой, что четвёрка королевских коней везла его на отдельных санях.

Сильвестр и Сильвия угостили кренделем всех детей, которые были на площади, и всё-таки остался ещё такой большой кусок, что он едва поместился на санях. На обратном пути жена крестьянина шепнула мужу:

— А ты знаешь, почему король и королева были сегодня так милостивы? Потому что Сильвестр и Сильвия смотрели на них и разговаривали с ними. Вспомни-ка, что я тебе вчера говорила!

— Это про колдовство-то? — сказал крестьянин. — Пустое!

— Да посуди сам, — не унималась жена, — где это видано, чтобы зимой распускались деревья и чтобы король и королева никого не наказали? Уж поверь мне, тут не обошлось без колдовства!

— Всё это бабьи выдумки! — сказал крестьянин. — Просто дети у нас хорошие — вот все и радуются, на них глядя!

<...>

Вскоре Сильвестр был назначен королевским лесничим, а Сильвия — королевской садовницей.

Ни у одного короля ни в одном королевстве не было никогда такого чудесного сада. Да и не мудрено! Ведь ни один король не мог заставить солнце слушаться его приказаний. А Сильвестру и Сильвии солнце светило всегда, когда они хотели. Поэтому в саду у них всё цвело так, что любо было смотреть!

Прошло несколько лет.

Однажды глухой зимней порой Сильвестр и Сильвия пошли в лес, чтобы навестить своих друзей.

В лесу бушевала буря, в тёмных вершинах сосен гудел ветер, и под его шум сосны пели свою песню:

Стоим, как бывало, крепки и стройны.

То выпадет снег, то растает...

И смотрим, два друга, две старых сосны,

Как снова сменяется зелень весны

Снегами белей горностаю,

Как тучи проходят, дождями полны,

И птички проносятся стаи. <...>

Пускай непогода бушует кругом —

Сосну не повалит ни буря, ни...

Но не успели они допеть свою песню, как внутри стволов что-то затрещало, заскрипело, и обе сосны повалились на землю. Как раз в этот день младшей исполнилось триста пятьдесят пять лет, а старшей — триста девяносто три года. Что же тут удивительного, что ветры наконец их осилили!

Сильвестр и Сильвия ласково потрепали седые, поросшие мхом стволы мёртвых сосен и такими добрыми словами помянули своих друзей, что снег кругом начал таять и розовые кусты вереска выглянули из-под земли. И так много их было, что скоро они закрыли старые сосны от самых корней до самых вершин.



Давно уже я ничего не слышал о Сильвестре и Сильвии. Наверно, теперь они сами состарились и поседели, а короля и королевы, которых все так боялись, и вовсе нет на свете.

Но каждый раз, когда я вижу детей, мне кажется, что это Сильвестр и Сильвия.

А может быть, старые сосны одарили своими чудесными дарами всех детей, что живут на свете? Может быть, и так.



Хи́жина — небольшой домик, избушка.

Де́рн — верхний слой почвы, поросший густой травой.

Сило́к — ловушка.

Насе́ст — перекладина, на которой сидят куры.

Собственной персо́ной — лично сам.

Чета́ — пара; муж и жена.

Казначей — хранитель казны (денег).



Возьмите в библиотеке книгу «По дорогам сказки. Сказки писателей разных стран» (М.: Детская литература, 1982). Найдите в ней сказки Ц. Топелиуса и прочитайте одну из них.

Джон Чиарди

Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн

(Перевод с английского языка Р.С. Сефа)

В лесу
В одном из прелых пней
Жил Джон Джей Пленти —
Муравей.
На зорьке,
Утренней порой,
Джон Джей
Вставал в неровный строй
Таких же
Рыжих муравьёв
И шёл в поход
Без лишних слов.
Работал Джон
Что было сил,
В свой муравейник
Он носил
Весь день
С утра и дотемна
Личинки,
Щепки,
Семена.
И всем доволен был
Джон Джей,
Весьма почтенный муравей.
Пускай работа
Тяжела,
Зато на лад
Идут дела,
И Пленти,
Волоча жука,



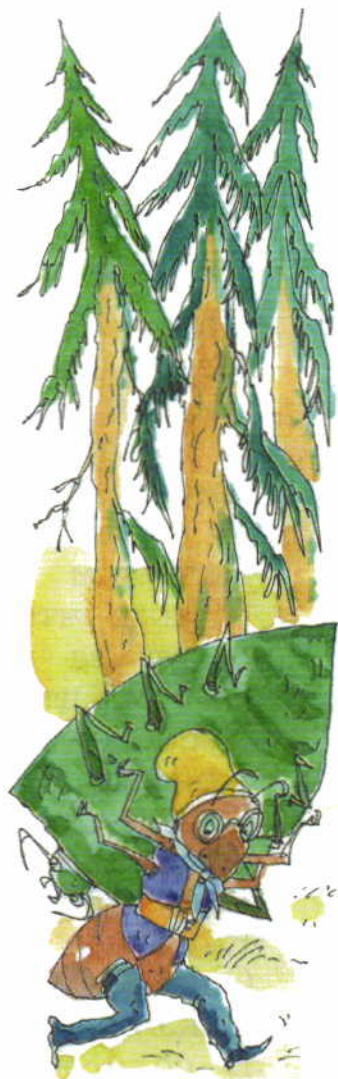
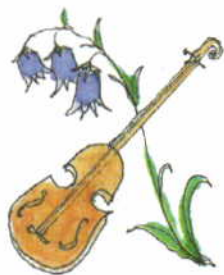
Кричал: — Вперёд!
Зима близка! —
Вокруг шумел
Дремучий бор,
Пел птиц лесных
Согласный хор,
Но был Джон Пленти
Не таков,
Чтоб слушать
Глупых соловьёв.
Он жирных гусениц
Таскал,
Молочных тлей
В листе искал,
Готовил на зиму запас.
И каждый день,
И каждый час
Он повторял:
— Друзья, вперёд!
Не медлите!
Зима идёт! —
И жил бы он,
Не зная зла,
Но у него
Сестра была.
А каждый знает,
Что сестра
Не всех
Доводит до добра.
Так и случилось.
Вечерком
На ближнем поле,
Под цветком,
Ей повстречался



Дэн — кузнечик,
Смешной
Зелёный человечек,
Который только-то и мог,
Что дёргать
Травяной смычок,
Пиликать
На зелёной скрипке
И вечно
Совершать ошибки.
И, неизвестно
Почему,
Сестра Дж.-Дж.
Ушла к нему.
А он с рассвета
До рассвета
Играл на скрипке
Песню лета.
И пела скрипка
Вместе с ветром
О солнышке,
Большом и светлом;
О том, что дни
Бегут за днями;
О том, что мы
Взрослеем с вами.
Прямые сосны
На опушке
Склоняли песне в такт
Верхушки,
Качались
Синие дубравы,
Покачивались
В поле травы,



И, улыбаясь
Песне той,
Крутился важно
Шар земной.
Пришла на смену лету осень,
Лес золото
На землю бросил,
А скрипка пела:
«Всё идёт,
Всему приходит
Свой черёд,
Листва летит,
Трава желтеет,
Одна лишь песня
Не стареет...»
Дубы столетние
В печали
Кривыми сучьями
Качали,
Молчали ели,
Но смола,
Как слёзы,
По стволам текла.
А Пленти,
Волоча жука,
Кричал: — Вперёд!
Зима близка!
Прожить без скрипки —
Ерунда,
Ведь скрипка —
Это не еда.
Зато без крова
И еды
Нам всем



Не миновать беды. —
Он звал сестру:
— Вернись домой!
Замёрзнет
Твой скрипач зимой,
А с музыкантом
Ни за грош
И ты, сестрица,
Пропадёшь. —
Сестра сказала:
— Милый Джон,
Я не вернусь.
Родным — поклон.
— Ну хорошо! —
Вскричал Джон Джей. —
Посмотрим,
Кто из нас умней.
Беги скорее
К скрипачу,
Тебя я видеть
Не хочу!
Зато,
Когда придёт зима,
Ищи себе приют
Сама.
Зимой зелёный
Мутный лёд
Все реки и ручьи
Скуёт,
Поля покроет
Плотный снег,
И скрипка
Замолчит навек.
...И впрямь



(Как смог он угадать?),
Помалу
Стало холодать.
Сначала чуть,
Потом чуть-чуть
В термометре
Упала ртуть.
Ещё чуть-чуть,
И сразу — хлоп! —
Мороз.
И на дворе — сугроб.
Но Джон Джей Пленти,
Прежде чем
Захлопнуть двери
Насовсем,
Взглянул вокруг.
Вокруг бело.
Всё белым снегом
Замело,
И только на деревьях,
Синий,
Сверкает звёздочками
Иней.
Над мёртвым полем тишина,
И скрипка больше
Не слышна.
И Джон,
Сдержав печальный вздох,
Сказал: — Конец.
Скрипач подох.
Да будет смерть его уроком
Всем скрипачам
И лежебокам.
Пусть воет ветер,



Я тем часом
Отправляюсь вниз,
К моим запасам.
И он спустился вниз. А там
Еда лежала по углам.
Подумал Джон:
«Ну что бы съесть?
Припасов здесь
За год не счесть:
Вот ветчина
Из мотыльков,
Вот макароны
Из цветов...»
Он было сел
За свой обед,
Но вдруг
Воскликнул громко:
— Н-е-е-т!
Я, видимо,
Сошёл с ума —
Ведь будет
До-о-олгая зима,
И есть я должен
Понемножку,
Раз в месяц —
Маленькую крошку.
Зато
На следующий год
Совсем не буду
Знать забот.
И правильно
(Скажи на милость),
Зима
Почти до марта длилась.



И как ни странно,
Но в апреле
Лучи
Замёрзший лес прогрели.
Когда весна
Погнала стужу,
То выполз мудрый Джон
Наружу.
Голодный, бледный и худой,
Он полз
За новою едой.
И, ковыляя
С бугорка,
Кричал: — Вперёд!
Зима близка!
Но что это?!
За ближней чащей
Услышал он
Напев звенящий.
Звучала музыка весны,
И, солнышком
Озарены,
Прямые сосны
На опушке
Склоняли песне в такт
Верхушки,
Качались
Синие дубравы,
Покачивались
В поле травы,
И, улыбаясь
Песне той,
Крутился важно
Шар земной.



Кузнечик Дэн
Играл на скрипке,
Вокруг него
Цвели улыбки,
И Джон заметил
Слабым взглядом
Кого-то,
Кто стоял с ним рядом.
Но кто?
Ах, Джон, очки наденьте —
Ведь это бывшая мисс Пленти!
И ослабевший Джон,
Бранясь,
Свалился носом
Прямо в грязь.
И вот что сообщу я вам
(Прислушайтесь к моим словам):
Накопишь много
Или мало,
Накупишь соли
Или сала,
Сошьёшь костюм
Иль три наряда —
Не в этом радость
И награда.
А вот
Без скрипачей
И песен
Наш мир
Совсем неинтересен.
Без песен
Липы не цветут,
Без песен
Реки не бегут



И шар земной,
Как ни проси,
Не повернётся
На оси.
Ещё скажу о том,
Что тоже
Нам с вами
Забывать негоже:
Зимой,
Когда бушует вьюга,
Кузнечикам,
Конечно, туго.
А иногда и так бывает,
Что кое-кто
Не выживает.
Но песня вечная жива —
Весной,
Когда взойдёт трава,
Весь лес огромный,
Всё зверьё
И все ручьи
Поют её.
И третьё.
То, что надо знать
Тому,
Кто хочет умным стать:



НЕТ НИЧЕГО НА СВЕТЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ СЛУШАТЬ ПЕСНЮ, ЛЁЖА В ЛУЖЕ.

? Сравните басню И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей» и стихотворение Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». Чем похожи и чем различаются эти произведения?

Содержание

О детях и для детей

Собачье счастье. А.И. Куприн. (В сокращении)	3
Белолобый. А.П. Чехов. (В сокращении)	15
Тёплый хлеб. К.Г. Паустовский	22
Новенькая. Л. Пантелеев. (В сокращении)	34
Фенька. Л. Пантелеев	60
Бабка. В.А. Осеева	73
Постойко. Д.Н. Мамин-Сибиряк. (В сокращении)	90
Заячьи лапы. К.Г. Паустовский	101
Двойной след. М.М. Пришвин	110
Кошкин дом. С.Я. Маршак. (Пьеса-сказка. Отдельные действия)	118
Стрижонок Скрип. В.П. Астафьев	130
Ошибка. С.В. Михалков. Басня	140
Девочка на шаре. В.Ю. Драгунский. (В сокращении)	141

Джон Джей Пленти и другие

Умная дочь крестьянская. Братья Гримм. (Перевод с немецкого языка Г.Н. Петникова)	151
Снеговик. Х.-К. Андерсен. (В сокращении. Перевод с датского языка А.В. и П.Г. Ганзен)	158
Зимняя сказка. Ц. Топелиус. (В сокращении. Пересказ А.И. Любарской)	166
Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн. Джон Чиауди. (Перевод с английского языка Р.С. Сефа)	181

Учебное издание

Автор-составитель
Ефросинина Любовь Александровна

Литературное чтение

3 класс

Учебная хрестоматия
для учащихся общеобразовательных учреждений

В двух частях
Часть вторая

Издание третье, доработанное

Редакторы *И.Н. Баженова, О.П. Москвина*
Внешнее оформление *Е.А. Гордиенко, Ю.Н. Маркарова*
Макет *В.А. Андрианова, Е.В. Согановой*
Художественный редактор *Е.В. Соганова*
Художники *С.Ю. Гаврилова, М.Ю. Зарецкий, А.И. Крысов, В.А. Цепилова*
Компьютерная вёрстка *Н.И. Беляевой*
Технический редактор *Л.В. Коновалова*
Корректоры *Ю.С. Борисенко, Н.А. Шарт*

Подписано в печать 25.10.12. Формат 70×90/16
Гарнитура JournalC. Печать офсетная
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 12,0
Тираж 35 000 экз. Заказ № 33916.

ООО Издательский центр «Вентана-Граф»
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, корп. 3
Тел./факс: (495) 611-15-74, 611-21-56
E-mail: info@vgf.ru, <http://www.vgf.ru>

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленных издательством
электронных носителей в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат»
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 59. www.sarpk.ru